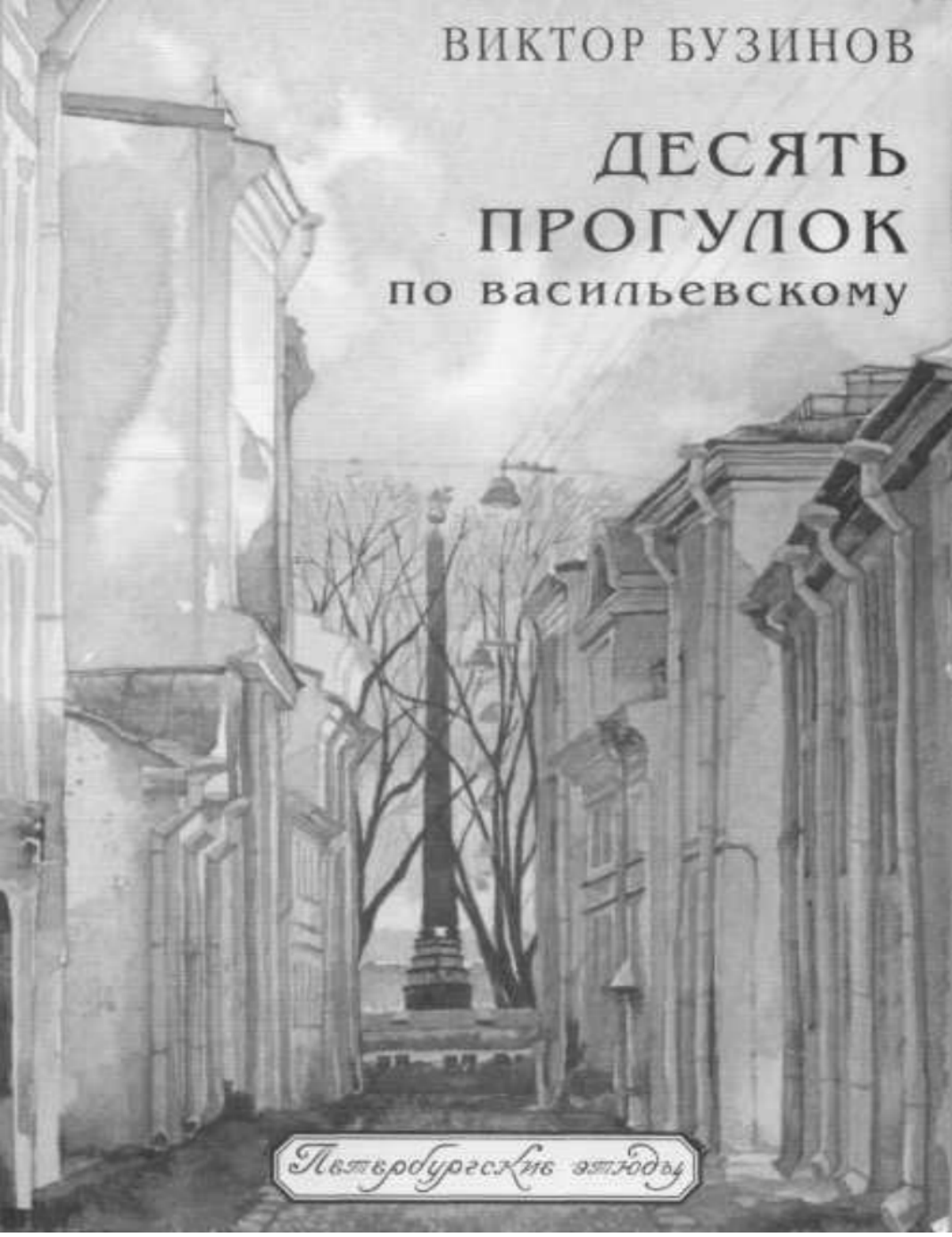
ВИКТОР БУЗИНОВ

ДЕСЯТЬ ПРОГУЛОК
по васильевскому



Петербургские этюды

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Виктора Бузинова, известного радиожурналиста, ведущего популярной передачи «Прогулки по Петербургу», рассказывает о Васильевском острове. Это своеобразное эссе, написанное на основе краеведческих материалов, авторского комментария к ним и воспоминаний.

- От редакции
- Предисловие к первому изданию
- У каждого свой остров...
- Загадки Соловьевского переулка
- По Кадетской и Первой линиям
- По Кадетской и Первой линиям
- Дворец Петра II
- Василеостровские сады
- По Второй и Третье
- По Четвертой и Пятой линиям
- Василеостровские немцы
- Там жили поэты…
- От «Дома Академиков» до Андреевского собора
- От «Дома Троекурова» до церкви Благовещения
- Виктор Михайлович Бузинов
- notes
    - Примечание 01
    - Примечание 02

От редакции

Эта книга была написана в 1999 году. Судьба ее, если учитывать читательский интерес к ней и внимание прессы, достаточно счастливая: два тиража «Прогулок» разошлись за короткий срок буквально «на ура». Но с той поры минуло почти три года и, увы, стало ясно: книга нуждается в дополнениях и уточнениях.

Дело в том, что ее автор изображал Васильевский остров таким, каким являлся он перед ним в последние годы XX века: островом, чья история и слава как бы поблекли, отодвинулись в прошлое, а нынешний день предстал дряхлеющими зданиями, запущенными садами и скверами, гибнущими памятниками архитектуры и общей атмосферой унылого запустения, которое витало над василеостровскими линиями. В поле зрения автора была лишь старинная многократно опоэтизированная часть острова. Речь в книге, конечно же, не шла о новых кварталах Васильевского, о его морском фасаде. Но с тем, о чем говорилось в ней, трудно было не согласиться: внешний облик любимого нами канонизированного Васильевского действительно потускнел, утратил тот блеск и ухоженность, которыми мог гордиться в конце XIX и начале XX веков.

Однако, слава Богу, случилось то, что случилось. В преддверии 300-летия Санкт-Петербурга казна отпустила немалые деньги на то, чтобы Васильевский приобрел вид, приличествующий юбилейным торжествам. Стремительно, буквально на глазах, преобразились Шестая и Седьмая линии острова, а еще до того – Вторая и Третья. Обновился Меншиковский дворец, завершился косметический ремонт Кадетского корпуса; возвратилось из небытия здание Манежа на Университетской набережной; после долгих лет обморочного сна вновь радует нас пением своих фонтанов Румянцевский сквер; помолодел Средний проспект; десятки зданий Васильевского встретили в 2003-м второе свое рождение…

Словом, тогда же, в год юбилея города появилось второе издание «Прогулок» несколько исправленное и дополненное. В 2003 году книга была удостоена Анциферовской премии. А два года спустя автор по настоятельным просьбам читателей еще раз дополнил книгу рассказами о близких ему василеостровских адресах.

Третье издание «Прогулок»,– как и первое и второе – содержит размышления о судьбе острова, о его славе и несчастьях, о многих, давно уже ставших хроническими,

болезнях…

И всё-таки по-прежнему главное в книге В.М. Бузинова – это эпизоды из жизни Васильевского 40-60-х годов прошлого века; образы людей, с которыми был знаком автор «Прогулок». Ещё рецензенты первого издания отмечали особую атмосферу достоверности и светлой печали, которыми пронизаны многие страницы книги. Автор порой говорит о чём-то очень сокровенном… Но таковы правила этого неожиданного жанра, в котором краеведение повенчано с личной судьбой рассказчика…

Предисловие к первому изданию

Я – радиожурналист. Но по характеру своему служба у меня почти что солдатская. Исполняю я ее ежедневно на улице, в любую, даже самую гадкую погоду. При том, что на плече у меня сумка с магнитофоном, который весит немногим меньше мосинской винтовки…

К магнитофону этому я привык и не променяю его ни на какие легонькие «панасоники». У него есть великое преимущество – не отказывать в лютый мороз.[01]

Но это так, к слову…

Если же всерьез говорить о книге, которую предстоит Вам прочесть или отвергнуть после первых же страниц, она в немалой степени – детище тех, с кем совершал я путешествия по Васильевскому острову. Марина Георгиевна Козырева, Валентина Ивановна Лелина, Марина Ивановна Полевая, Юрий Анатольевич Ендольцев, Мурад Алиевич Мамедов, Михаил Николаевич Микишатьев, Сергей Сергеевич Шульц – всё это люди, чье знание Васильевского острова и любовь к нему легли в основу предлагаемой Вашему вниманию книги.

Конечно же, представленный в ней краеведческий материал шире, чем тот, что вбирали в себя наши совместные радиопрогулки по Васильевскому. Причиной тому различные публикации и книги, мимо которых я не мог пройти в силу своего профессионального любопытства. Библиография получилась достаточно большой, но ссылки на прочитанную литературу я привожу не в конце книги, а в процессе повествования; обращаюсь к тому или иному источнику лишь по мере надобности. Особую благодарность за добрые советы и оказанные консультации я выражаю Владимиру Васильевичу Герасимову и ныне покойному, Александру Матвеевичу Шарымову, а также председателю историко-краеведческого клуба «Васильевский остров» Марине Георгиевне Козыревой. Очень сожалею, что не мог в полной мере воспользоваться материалами удивительной, воистину подвижнической, создававшейся четверть века книги Галины Юрьевны Никитенко и Виталия Дмитриевича Соболя «Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт-Петербурга». Мой скромный труд был уже в наборе, когда эта книга вышла в свет.

Впрочем, «Десять прогулок по Васильевскому» – это не только краеведение. Мне трудно определить жанр книги. Скорей всего, это некий симбиоз краеведения, мемуаристики, авторских ремарок и воспоминаний.

Хорошо это или плохо? Об этом судить Вам, дорогой читатель.

У каждого свой остров… (приглашение к путешествию)

Вообще-то, Васильевский – не лучшее место в Петербурге. Разве что, – близко от центра.

Он совсем не такой, каким предстает с Невы готовому пустить слезу восторга неофиту. За каменными кулисами потрясающей красоты набережных скрываются монотонно-однообразные линии, строго отмеренные кварталы домов и сами дома, чаще всего одноросл ые, на одно лицо, без каких-либо архитектурных изысков – обычные доходные дома, возведенные здесь в последней четверти XIX и начале XX веков.

Это – то, что касается «первородного» Васильевского: пространств между его Стрелкой и некогда начинавшимся за Восемнадцатой линией Смоленским полем – старинным выгоном для островного скота.

Дальше простираются Гавань и Голодай. У них – своя судьба своя застройка, свой уклад жизни. Здесь есть ветшающие памятники старины: Галерный ковш, Кронштицы и давно уже ставший улицей Шкиперский проток. Есть здесь и свои, лежащие за знаменитым Морским фасадом города, спальные районы. Есть промышленная зона, иногда напоминающая о себе металлическими голосами верфи и запахами кожевенного производства.

Но Бог с ними, с Гаванью и Голодаем. Здесь мы будем прогуливаться как-нибудь в другой раз. В этой же книге я приглашаю Вас в ту самую, разлинованную на скучные квадраты, восточную часть Васильевского, которая, как я уже сказал, кроме знаменитых набережных и двух-трех десятков памятников зодчества в глубине острова, на первый взгляд ничем не привлекательна.

Я родился и вырос здесь. И прожив на Васильевском часть своей жизни, в 60-е уехал с него, чтобы однажды, годы спустя, «заболеть» им. Болезнь моя – если это, конечно, болезнь, – имеет отношение к возрастной ностальгии. Я вдруг заметил, что стал глубоко грустить о покинутом мною острове. Он стал наведываться в мои сны, тревожить прошлым – «господи, так ведь это ж было на Васильевском», – и, словно мстя мне за былое мое юношеское отсутствие пиетета к его сединам, незаметным образом частыми напоминаниями о себе развил во мне способность «усекать» в памяти все, что относится к его, скажем так, неформальной истории. Именно неформальной.

Я давно уже отношусь к острову, как к живому существу. Чем-то обойденному судьбой, многократно обиженному, виноватому не по своей вине.

Ведь даже название его – Васильевский, с точки зрения топонимики, не прояснено до конца. До сих пор бытует легенда, что назван он так по имени поручика бомбардирской роты Василия Корчмина. После закладки Петропавловки он командовал батареей на Стрелке острова, доставшегося русским под финским именем Гирвисаари, что значит Лосиный. Посылая Корчмину деловые депеши, Петр адресовал их кратко: «Василию, на остров». Отсюда, дескать, и Васильевский. Но это – лишь миф.

Васильевским остров назывался еще в XV веке. Среди новгородских посадников, владевших им, известны три Василия – Василий Казимир, Василий Селезень, по прозвищу Губа, и Василий Ананьин. Большинство исследователей до недавнего времени сходились на том, что остров был назван по имени казненного Иваном III в 1471 году Василия Селезня. Но так ли это на самом деле – доподлинно не известно. Тем более, что в своей книге «Предыстория Санкт-Петербурга» историк и литератор Александр Шарымов приводит данные в пользу еще одного – в данном случае, неизвестного, – Василия, давшего острову свое имя. Шарымов ссылается на письмо, датированное 1421 годом, где говорится о некоем Саве, торговце солью с Васильева острова. Значит, получается теперь, что название острова имело отношение к какому-то Василию еще за полвека до казни Василия Селезня.

И вот уже после того, как вышло в свет первое издание «Прогулок» возник проект установки памятника Василию на Седьмой линии. Но какому Василию? Похоже, все-таки – Василию Корчмину, петровскому бомбардиру, что в стужу и зной, дождь и етер неотлучно нес на острове свою службу.

Кстати, о ветрах и вообще о погоде на Васильевском. Утверждают – не знаю, правда ли, – что зимой здесь чуть холоднее, чем других питерских районах. Если это так – виной тому все та же, удобная для ледяных сквозняков, прямизна местных линий. Летом остров первым принимает на себя с залива дождевые тучи, а поздней осенью – грозящую наводнением нагонную волну.

Не позавидуешь ему, чего уж там…

Еще Николай Павлович Анциферов в своей книге «Душа Петербурга» заметил, что Петербург может быть назван «приютом несовершенных дел». Он говорил так о городе вообще, но более всего это относится именно к Васильевскому.

Здесь намечался по замыслу Петра центр города. Но, увы,

этому плану, как и многим другим, связанным со строительством на острове, не суждено было сбыться.

В 1716 году любимым архитектором царя – Доменико Трезини – был представлен проект, по которому на Васильевском предполагалось создать четкую сеть прямоугольных кварталов. Вдоль разделяющих их улиц – линий Трезини предлагал прорыть каналы. Причем самый крупный из них провести на месте нынешнего Большого проспекта, чтобы торговые суда беспрепятственно проходили от моря до Стрелки, где планировалось разместить Петербургский порт. Рядом со Стрелкой, чуть дальше на запад, Трезини замышлял разбить центральную городскую площадь с каменным храмом и общественными зданиями, включая Биржу и Таможню. Архитектор слишком хорошо знал вкусы Петра. Знал его любовь к знаменитым каналам Амстердама. И потому не мог ошибиться: царю проект понравился.

А через год, находясь в Париже, Петр получил от знаменитого французского архитектора Жана Батиста Леблона новый план строительства Петербурга. По этому плану центр города намечалось создавать тоже на Васильевском. Сохранилось даже точное указание, где именно: в глубине Васильевского, примерно там, где Средний проспект пересекается с Десятой и Одиннадцатой линиями. Здесь на площади должен был находиться дворец Петра. А чуть ближе к морю, еще на одной громадной площади – Сенат и Городская Дума. Было в этом проекте, что касается Васильевского, и множество других симпатичных предложений, оживлявших строгую, как шахматная доска, планировку Трезини.

Но предложения знаменитого француза – и это, как считают многие историки, первая потеря, которую понес остров, – были Петром отвергнуты. Собственно, сам план ему понравился, и он обласкал Леблона, заключил с ним контракт и дал в Петербурге огромное жалование и чин генерал-архитектора, но… велено было все-таки продолжать работы на острове по проекту Трезини. Чтобы ускорить строительство центра, в 1719-м был издан государев Указ, вменявший в обязанность всем русским дворянам, владеющим более чем сорока крестьянскими дворами, да и купцам, конечно же, возводить дома только на Васильевском.

Пытались насильно переселить на остров и жителей из других частей Петербурга, при этом исключения не делалось даже для иностранцев. Вот что писал прусский посланник Мардсфельд (его свидетельства приводятся в книге С. П. Луппова «Строительство Петербурга в первой четверти XVIII века»): «Так как окончательно решено, что настоящий город будет находиться

на Васильевском острове, то было приказано жителям Немецкой слободы перебраться туда. На этой стороне вообще ничего не хотят оставлять, кроме строений, принадлежащих Адмиралтейству… Жители находятся в отчаянии. Их лишают домов, садов, теплиц, а потом по произволу заставляют на новых местах опять селиться, а все живущие по реке должны „строить каменные дома“.

Между тем, дома строились и не достраивались. Количество, как теперь говорят, «незавершенки» было на Васильевском ужасающим. Десятки каменных и деревянных строений стояли без крыш, потолков и полов, ветшая и разрушаясь от вечной питерской непогоды. Переезжать на отрезанный Невой от обжитого Петербурга остров, невзирая на всю строгость Петровских Указов, никто не спешил. Отговаривались нехваткой средств, отсутствием возможности прислать из имений нужное количество крепостных строителей, и оставались жить на Городском острове или вблизи, от царского дворца. По данным первого историка города А.И. Богданова, из 1758 участков, отведенных на Васильевском под строительство, более половины не было даже роздано, а из розданных застроено около пятисот. И все-таки, при всем сопротивлении петербуржцев, за первое десятилетие с начала застройки Васильевского было освоено, правда, в основном в юго-восточной части, около четверти территории. Обозначились набережные, начало Большого проспекта, наметились первые ряды улиц-линий.

Пройдет еще десять лет, и уже будут смотреться в зеленые воды Невы и Кунсткамера, и дворец жены брата царя – Прасковьи Федоровны, уже будет наведен через Неву Исаакиевский мост на плавучих опорах, в глубине Стрелки поднимется Гостиный двор, а на северо-восточной оконечности Васильевского зашумит, затрепещет флагами иноземных кораблей петербургский порт.

Но все ясней становилось с годами: центра Петербурга на Васильевском не получится. Плетью обуха не перешибешь. Отторгали нещадно болота и леса острова натиск его подневольных первостроителей. Да и петербуржцы давно уже перестали сочувствовать Петрову замыслу. И все реже обращали на остров свой осветленный надеждой взгляд государственные особы. Пока, наконец, в начале 1730-х годов, по причине того, что центр Петербурга сам по себе оформился на Адмиралтейской стороне, от идеи Петра не отказались окончательно. Васильевский был объявлен предместьем; завершение его ансамблей отложено на неопределенный срок…

Теперь – о каналах. Васильевскому не суждено было превратиться и в маленький Амстердам.

Как известно из «Описания» Петербурга того же А. И. Богданова, каналы начали рыть только в 1727 году. Они потянулись от Большой Невы к Малой между Четвертой и Пятой линиями, Восьмой и Девятой, по Кадетской линии, а несколько позже, и вдоль здания Двенадцати коллегий на месте нынешней Менделеевской линии. Кроме того, намечалась прокладка широкого канала по просеке, прорубленной от Меншиковской усадьбы – к взморью.

В дальнейшем канал этот намечалось дотянуть до Стрелки и завершить бассейном на главной площади нового города. Впрочем, мало ли грандиозных планов затевалось на Васильевском!.. Забегая вперед, скажем, что канал этот рыть так и не начинали.

Ну, а как выглядели каналы, к сооружению которых все-таки приступили? Один из них, напротив здания Двенадцати коллегий, изображенный на известном рисунке М. И. Махаева 1732 года, смотрится довольно широким и полноводным. Что же касается глубины каналов, то сведения на этот счет разные. Во всяком случае, сохранилось свидетельство, что возглавлявший кафедру химии Академии наук курляндский медик М. Бюргер погиб в 1728 году при не столь уж редких в тогдашнем Петербурге обстоятельствах – в нетрезвом виде выпал из кареты в канал и утонул.

Вообще-то свой канал должна была иметь впоследствии каждая третья улица Васильевского. На пересечении каналов с Большой Першпективой, нынешним Большим проспектом, по замыслу Трезини планировалось устроить квадратные бассейны. Но все идеи эти постепенно стали утрачивать свою былую привлекательность. И не каналы, а мелкие канальцы для стока воды появились вдоль проезжей части некоторых из Василеостровских линий. Смрад и гнилая сырость витали над этими новоявленными водными протоками.

И вот, наконец, в 1767 году, невзирая на гигантскую затрату сил, ушедших на их прокладку, Екатерина II велела каналы засыпать. Ибо, как говорилось в решении комиссии о Санкт-Петербургском строении: «От них бывает одна грязь и происходит дух вредительный здоровью…».

Каналы засыпали. Но остался вопрос: зачем было городить огород? Зачем начинать строительство нового Амстердама, так и не доведя его до конца, когда вода в каналах стала бы жить, то есть двигаться?

Что-то похожее, впрочем, происходило и в наши дни вокруг дамбы в Маркизовой луже…

Не довелось Васильевскому иметь и свою гавань со стороны

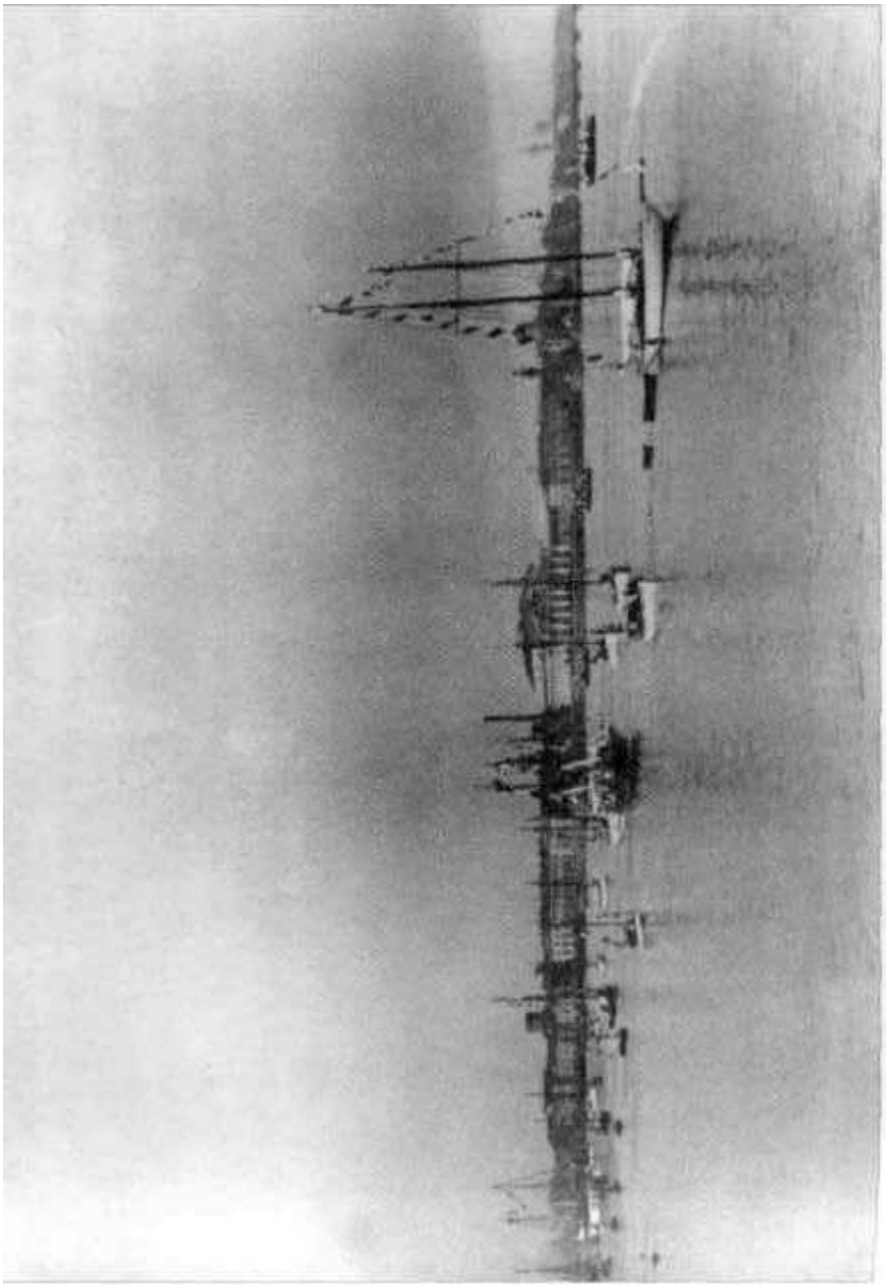
залива. Начатое еще при Петре обустройство ее вскоре зашло в тупик. Вот что писала об этом «Живописная русская библиотека» в №31 за 1858 год: «Неудобство низменного местоположения Гавани, при частых ветрах затопляемого гонимой водой с моря, и потому признанного губительным для обывателя, побудило правительство запретить в этих местах как постройки новых домов, так и исправление прежних зданий, пришедших в совершенную ветхость. При этом последнем распоряжении по закрытию Гавани, обывателям ее представлено право переселяться по „произволу“ в другие части города».

Последним уходил с Васильевского торговый порт. И это детище Петровской эпохи вселилось сюда не на века. Утратив колорит пристанища всех флотов, остров еще больше стал походить на захолустье. От окончательного уничижения спасали его все те же красавицы-набережные и обосновавшиеся здесь, вдали от «шума городского» учебные и научные центры.

По-настоящему Васильевский воспрянул и стал спешно застраиваться уже в последней четверти XIX века. Тогда-то и появилась на нем череда однообразных доходных домов с дворами-колодцами. Тогда-то пришли на юго-запад острова аппаратный завод немецкой фирмы «Сименс-Шуккерт» и «Соединенные кабельные заводы», мастерские по сборке пневматических машин американца Джона Ленка, кожевенные производства Брусницына и Парамонова, текстильная фабрика «Лютш и Чешер».

Вместе с уже прописанными на острове Балтийским заводом, табачной фабрикой «Лаферм», фирмой «Сименс-Гальске», они впервые положили на обветренную физиономию Васильевского сажу промышленной зоны. Задымили, загрохотали, загудели на всю, еще недавно считавшуюся тихим захолустьем, округу, понуждая мастеровой народ селиться по соседству, в тех самых, построенных тогда же, однообразных и многоэтажных домах.

Остров превращался в обычный густонаселенный городской район, постепенно переходящий в топкие, полупустынные окраины взморья.



В начале XX века, как свидетельствует снимок, в Петербурге в большом почете были водные виды транспорта… Путешествовать любили на катерах, шлюпках, яхтах, яликах, ну, и, конечно на пароходах и пароходиках…(Вид на Васильевский остров с Дворцовой набережной. Начало 1900-х гг. Фотограф неизвестен.)

Васильевский был плохо виден с моря, как, впрочем, не было видно с острова и самого моря. К нему через заросли трав,

камышей и ракитника тянулись лишь узкие рыбацкие тропы.

В 1912 году появляется оригинальный проект архитектора Ивана Фомина: выстроить на взморье, на примыкающем к Васильевскому острове Голодай, комплекс общественных и жилых зданий, которые бы не уступали лучшим мировым образцам, скажем, береговой застройке Манхэттена.

О проекте этом много писалось в те годы. С легкой руки журналистов его начали именовать не иначе, как «Новый Петербург на Голодае». С этим названием он и вошел в историю, так и не будучи, как и многое другое на Васильевском, осиленным. Кстати, существовало даже акционерное общество «Новый Петербург». Для него в 1912—1914 годах строил дома на Железноводской и в Голодаевском переулке мастер северного модерна Федор Лидваль. Он же был соавтором Фомина в его проекте застройки Голодая.

К проекту тому, как к предтече идеи морского фасада города вернутся лишь десятилетия спустя. Вернутся, чтобы начать и не закончить грандиозное строительство.

Повторяю, какой-то злой рок хронических недоделок витает над Васильевским. Ему не суждено было стать шумным, подвижным, разноязыким и веселым островом-портом. Островом торговых моряков, переходящих из таверны в таверну. Не дано быть центром Петербурга, Маленьким Амстердамом или Северной Венецией. Не привелось застроиться изнутри, под стать своим всемирно известным набережным, сохраниться, как остров, заселенный самой большой в Петербурге немецкой общиной. И смешно сказать, даж Большой проспект, гордость василеостровцев – цепь прелестных бульваров, проложенных по трассе так и не состоявшейся Большой водной магистрали, – уже начиная с Косой линии, не завершен, не исполнен в начальном своем замысле. На выходе к морю, едва ли не в самой главной, торжественной своей части, он вдруг утрачивает бульвары и превращается в узкий и пыльный коридор. А виной всему – опять же стечение обстоятельств, нехватка денег в городской казне, которая так и не смогла в конце XIX века выкупить под бульвары у частных владельцев уже застроенные до проезжей части Большого участки земли…

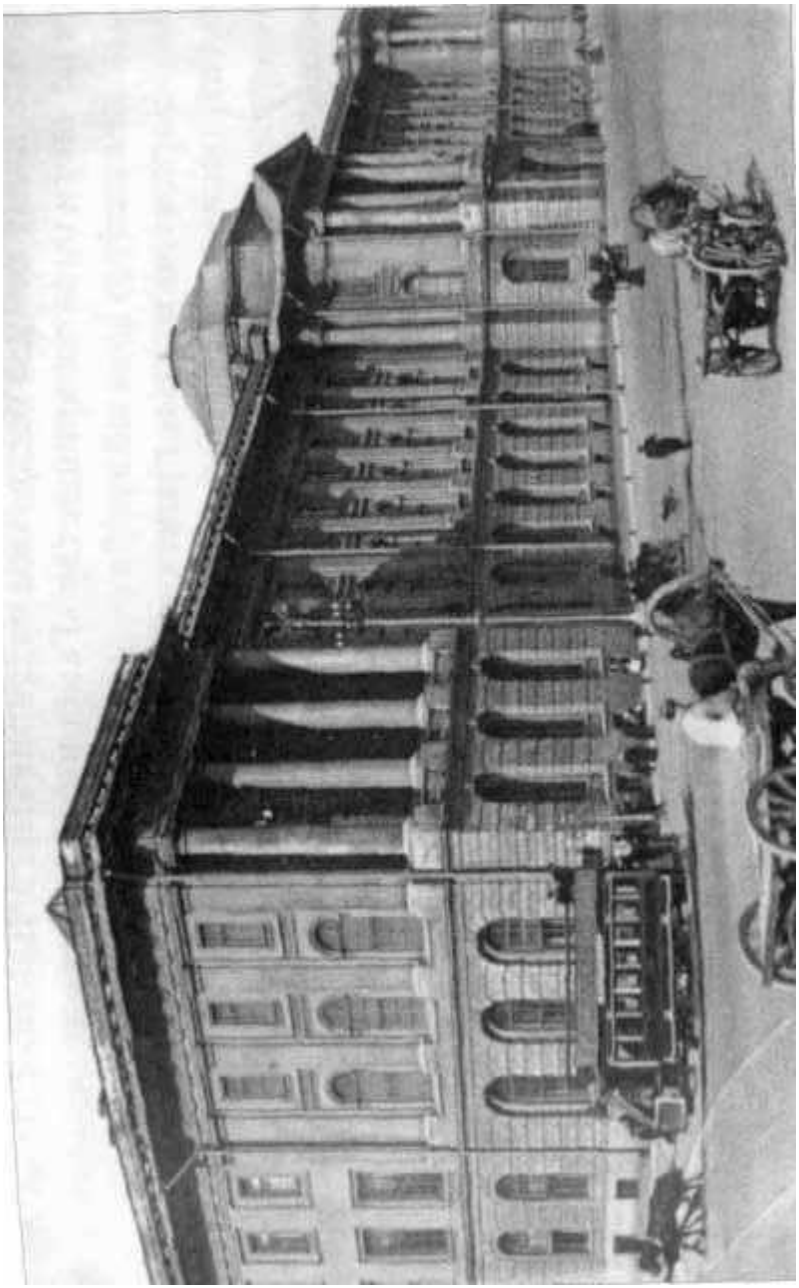
Но хватит о несбывшемся!..

Васильевский, как бы ни потешалась над ним судьба, все равно нежно любим тысячами ныне живущих здесь горожан и многими тысячами тех, кто в разное время и по разным причинам покинул остров.

Есть у Васильевского особая притягательность, особый шарм и тайна этого шарма. Что бы я не говорил о нем дурного, я готов

отречься от всего сказанного, однажды в утренний час разглядев из проходного дворика, на фоне крыш и глухого брандмауера, луковку Андреевского собора.

Тайна притягательности Васильевского скрыта в скверике, столь трогательных среди кирпичных громад; в частично сохранившихся от прошлого века остатках палисадников и садов; в живописных проходных дворах, буквально пронзивших остров своей пешеходной системой, непонятной для пришлого человека, но родной для аборигенов.



По суше передвигались, в основном, с помощью конной тяги: на пролетках, на телегах, а если спешить было некуда, то на конке. Ее «крейсерская» скорость составляла восемь километров в час. И петербуржцы, особенно из тех, кто предпочитал ходить пешком, шутили: «Конка, конка, догони цыпленка!» Первый трамвай на Васильевском появился в сентябре 1907-го, спустя четыре года после того, как была сделана эта фотография. (Академия

художеств. 1903 г. Фотограф неизвестен.)

И еще – это близость Невы… Ни на что не похожий, настоянный на ладожских водорослях, запах ее воды… И блеклые сумерки, спускающиеся на воду… И эти сухогрузные железные шаланды и катера, причалившие к набережной мятежного лейтенанта. И голоса реки, не различимые в глубине острова, но здесь, на его берегах, внятные и бередящие душу.

Василеостровцы, как правило, говоря об острове, говорят и о себе. О том собственном «Васильевском», который должен быть у каждого. Меня, повторяю, всегда интересовала его «неформальная» история, не столько общеизвестные события, сколько анекдоты, редкости, курьезы, касаются ли они свидетельств о пиратстве в акватории острова в десятых годах XX века или легенды о том, что университетское общежитие на Пятой некогда принадлежало публичному дому, а по другим источникам, специализирующемуся по части пива товариществу «Гамбринус» и винным складам АО «Латинак».

Занимало меня и происхождение названий некоторых василеостровских домов. Почему, например, дом №25/24 по Кожевенной линии в Чекушах называют «Скобским дворцом»? Имечко это возникло вместе с появлением на свет Божий в 1906 году огромного и безликого, как и большинство петербургских доходных домов, «сооружения для проживания».

Селился здесь работный люд из разных губерний России: Ярославской, Тверской, Новгородской и в том числе Псковской. Почему именно псковичи были наделены особым вниманием округи – доподлинно не известно. Но, так или иначе, в названии «Скобской дворец» звучит некое ироничное отношение петербуржцев пришлым неотесанным на городской лад людям.

Вообще «пришлость», помноженная на нищету, всегда отторгалась по-немецки аккуратным, чиновным островом. Вот и деревянные постройки, что в начале XX века были на месте нынешних домов №18 по Семнадцатой линии и №27 по Восемнадцатой; назвали «Васиной деревней» не только потому, что владел ими предприниматель из крестьян некто Васильев, а и оттого, что селились в этой «деревне» за самую низкую плату люди деревенские, приехавшие в столичный град на заработки. Фактически это были ночлежные дома. Некий перевалочный пункт для одних и конечный для других.

«Васину деревню» снесли в 20-е годы, когда ликвидировал и всяческие другие ночлежки. На ее месте построили несколько вполне приличных пятиэтажек в конструктивистском стиле; но что удивительно – еще в 50-е годы намять об этой резервации продолжала существовать…

Помню необъяснимую вражду между подростками Василеостровского и Свердловского районов, разделявших в ту пору остров на две части. Видимо, это было продолжение какой-то старой вражды, восходящей еще к временам песни о некоем василеостровском жулике Чесноке, зарезанном гаванскими парнями. Во всяком случае, не принято было гулять стадом по чужим территориям, а если надо было выяснить что-то между собой, «стрелки» назначались на самой границе района, у домов Семнадцатой линии, где и была когда-то «Васина деревня». Теперь-то я понимаю ядовитый смысл не раз слышанной мною фразы: «Мы-то васинские! А они – васины…» Ну и, надо понимать, всякие там «скобские», приезжие…

Должен сказать, что Васильевский как бы весь соткан из несуразностей и парадоксов своей истории и нынешнего островного бытия…

Мне приходилось встречаться со множеством василеостровцев. Были среди них и люди странные, обуреваемые навязчивыми фантазиями. Таким был и Андрей Н., так и не состоявшийся поэт, мой юношеский приятель. Андрей первым обратил внимание на самодостаточность острова. На Васильевском, по его убеждению, было все для независимой ни от кого сытой и счастливой жизни. Были крупные заводы, которые за счет своей продукции, продаваемой за рубеж или в Россию, могли бы содержать население Васильевского. Были фабрики, шьющие одежду и обувь. Были всемирно известные Университет и Академия художеств, десятки научно-исследовательских институтов, морские и речные причалы, трампарк, школы и «дурдом», хлебозавод и свое ликеро-водочное производство.

Недалеко от этого производства, в Биржевом переулке, и жил Андрей. Иногда летними вечерами, когда старое скрюченное дерево перед его домом переставало отбрасывать тень, в холостяцкой комнате Андрея за колченогим столом собирались друзья. Андрей Ратовал за эксперимент… За то, чтобы именно на Васильевском можно было проверить задуманную им модель безбедного существования. Еще лежал в колыбели Чубайс и понятие «свободная зона» воспринималось, как баскетбольный термин, а Андрей уже звал к маленькому городу в городе, маленькому государству в государстве.

– Друзья мои! – восклицал он, – это должно быть объявлено официально!.. И тогда… – он держал паузу, и вздернутый к потолку стакан в его руке замирал, – и тогда мы поднимем мосты, мы пустим в фонтаны вино. И самые красивые женщины Питера будут завидовать с того, «не нашего» берега нашим фейерверкам.

Он бредил, но кому-то начинало казаться, что все это,

действительно, должно наступить в скором времени.

Вечера в Биржевом оборвала смерть Андрея. Он утонул, купаясь у Петропавловки. Тело его через три дня вынесло к Васильевскому, прибило недалеко от Стрелки. А, может быть, он и сам хотел переплыть сюда, но, подобно возвращавшемуся с Екатерингофских гуляний мастеру Берману из лесковских «Островитян», не рассчитал сил.

Вообще, остров притягивает к себе своих жителей и в светлый, и в смертный час. Об этом писал и Иосиф Бродский. Хотя сам он василеостровцем не был…

После Андрея остались колченогий стол, несколько продавленных стульев и железная койка с серым солдатским одеялом. Всю «интеллектуальную» собственность фантазера и неудачника составлял его, навсегда ушедший вместе с ним, «проект» об эксперименте на Васильевском.

Я, наверное еще помяну раз-другой об этом проекте по ход книги. А сейчас – предлагаю, дорогой читатель, начать путешествовать по острову.

Загадки Соловьевского переулка
Прогулка первая.

в которой автор ведет читателя, быть может, по одной из самых старых улочек Василъевского, высказывает версию, как образовалась она; знакомит с ее былыми обитателями, и событиями, которые, происходили здесь давно, а также на его памяти.

Это – одно из ранних детских воспоминаний… Я полулежу на санках со спинкой, укутанный в шерстяной платок. Мне тепло. Снег монотонно поскрипывает под полозьями. Санки бегут споро и ровно. Но мне кажется, что это небо бежит надо мной, и месяц, похожий на рогалик из булочной, то прячется за тучами, то вновь выглядывает из-за них: играет со мной или дразнится.

По обе стороны пути стоят дома с желтыми глазами. Они очень близко от меня – и справа, и слева. И дорога впереди похожа на узкий и длинный, как у нас дома, коридор. Я вряд ли знаю, сколько мне лет. Но знаю, что человек в мохнатом полушубке, тянущий санки – мой отец. Знаю, что мы едем домой. И, как я уже понимаю это теперь, едем Соловьевским переулком…

Соловьевским называют его и по сию пору те, кто жил здесь войны и в послевоенные годы. В 1952-м переулок пошел на «повышение». Был переименован и получил статус улицы. Улицы Репина. Как-то неудобно, наверное, было продолжать называть переулком то, что вдруг обрело имя великого живописца.

Но мне, родившемуся здесь, все-таки сподручней величать улицу Репина по старинке – Соловьевским переулком: слишком много воспоминаний детства, юности, университетских лет связано именно с «Соловьевским».

Переулок этот пролегает параллельно Первой островной линии и имеет в своем начале у площади Шевченко (это там, где Румянцевский сквер или Соловьевский сад) ширину – 5,5 метра, а на исходе, у Среднего проспекта – 5,8.

Некоторые историки города объясняют его узость следствием плотной застройки Васильевского. Думаю, что это – не совсем так. Он просто сохранился таким, каким и был всегда, играя, еще до того, как здесь началась плотная застройка, особую роль столь необходимой для этих мест подъездной дороги.

Свою историю переулок, по-видимому, ведет с начала второго десятилетия XVIII века. Тогда рядом со строящимся каменным Меншиковским дворцом располагалась Французская слобода. Ее улочки пролегали на участке между нынешними Первой и Четверти линиями. Там, на месте Румянцевского сквера, с 1710-го примерно до 1730 года находился Меншиковский рынок, и тогда же появились здесь склады различных, доставляемых в Петербург по Неве, товаров и строительных материалов для нужд островитян.

Этого дома давно не существует. Как не существует и выглядывающего из-за ограды дерева, и плиточного тротуара, и булыжной мостовой, и старинных уличных фонарей… А ведь это – Соловьевский переулок, нынешняя улица Репина перед ее выходом к Большому проспекту, по которому этот дом и числился за №1. Именно здесь, в левом крыле жилого комплекса, принадлежавшего лютеранской церкви Святой Екатерины, размещалась «Евангелистическая школа женского рукоделия», о чем, собственно,

и сообщает хорошо различимая на снимке вывеска. Дом был построен в 1859 году по проекту В.Я. Лангвагена, а во время блокады его уничтожила немецкая бомба. Теперь здесь стоит дом, возведенный в 1946 году пленными немцами. Совсем не похожий на своего предшественника, он, тем не менее, перенял от него три полукруглых, доходящих до третьего этажа, входных арки. (Большой пр., д. №1. 1912-1914 гг. Фотограф К. Булла)

Со складов, как, впрочем, и с рынка вглубь полуобжитой части острова вела дорога. Может быть, много дорог, но я говорю об одной. Это была поначалу тропа, а потом – дорога. И проходила она до уже прорубленной Большой Першпективы, а затем и до Средней. Но где проходила? Скорей всего по высокому месту – Пескам, как было принято говорить тогда. Болот и топей кругом предостаточно, а вот песчаную гриву отыщешь не сразу. Но отыскали. Набили тропу. И в память об этом, когда дорога уже стала маленькой улочкой, дали ей название «Песчаный переулок». Именно так называлась нынешняя улица Репина в 1792 году. Переулок шел действительно по гриве и потому сохранял с вариантами – «Песошный», «Песочный» – свое название до 5 марта 1871 года, когда в связи с заслугами перед городом золотопромышленника Соловьева был переименован в Соловьевский.

Я, конечно, высказываю лишь свою версию о происхождении первого названия и истинном возрасте переулка… Как ее доказать?

Ну, прежде всего, почтенный возраст переулка косвенно подтверждает в сказке «Черная курица или подземные жители» писатель Антоний Погорельский.

Помните, герой сказки – Алеша – живет в пансионе, который лет за сорок до того, как была написана книга, находился «на Васильевском острову, в Первой линии». «Дому этому, – пишет Погорельский, – принадлежал довольно просторный двор, отделенный от переулка забором… Ворота и калитка, кои вели в переулок, были всегда заперты и поэтому Алеше никогда не удавалось побывать в переулке, который постоянно возбуждал в нем любопытство».

Понятно, что речь здесь идет о нынешней улице Репина, а до того еще – Соловьевском, Песочном, Песошном, Песщаном[02] переулке. Если учесть, что книга написана в 1829 году, а сказочные события происходят в ней, как сказано у Погорельского, «лет сорок назад», названия своего переулок еще тогда не имел. Или имел какое-то название, о котором петербургская топонимика сведениями не располагает.

Я-то думаю, что он и был Песщаный. Только название это

ходило, до поры до времени, в народе… Удивительно, но и по сей день оставила о себе память древняя песчаная грива. На подходе к площади Шевченко в переулке – это при абсолютно плоских Первой и Второй линиях– заметен ощутимый уклон в сторону Невы. Я помню его еще с детства, когда бегал здесь взапуски от Большого к Соловьевскому саду. Ну, а всех сомневающихся в наличии уклона – прошу проверить.

Есть и еще одно доказательство, касающееся возраста переулка.

Дело в том, что все дома в начале Первой линии – 6,8,10,12 – наиболее почтенные ее старожилы. Они строились первоначально в 20 – 30-х годах XVIII века. Во всяком случае, весь этот участок от Большой Невы до Большой Першпективы был уже тогда занят домами по проекту «для именитых». Они, конечно, достраивались, перестраивались, меняли облик. Но… при этом кое-где сохранили по сей день, кроме парадного входа с линии, некие «поддомья» – узкие тоннели под зданиями, напоминающие о своем возрасте сгорбатившимся плиточным полом и выгнувшимися от тяжести лет стенами. Куда вели эти тоннели? Вели во двор, в который можно было заехать только с переулка. Кстати, он и значится здесь, правда, еще без имени, на топографическом плане города, составленном капитан-поручиком от бомбардир, геодезистом Иоганном фон Зигхеймом в 1737 году.

Вообще говоря, таких переулков могло бы быть на Васильевском множество, превратись остров в маленький Амстердам. Это – память о подсобной роли, которую должны были выполнять некоторые из его улиц.

Если бы, повторяю, осуществился план прокладки каналов вдоль каждой третьей из улиц-линий. Но план осуществлен не был и надобность в специальных подъездах к задворкам сама по себе отпала.

Многое из сказанного мною, конечно, лишь догадки. Но факт остается фактом: Соловьевский (ул. Репина) – одна из старейших улочек Васильевского, рудимент, остаточное излучение великого плана Трезини.

Чего только не испытал на своей спине за два с половиной века существования этот переулок. Помнит он и тяжкую поступь коней, запряженных в телеги с дровами, камнем, кирпичом, сеном; грохот карет; и затем, уже в XX веке, – надрывное гудение автомобильных моторов.

До сих пор сохраняет эта улочка свой особый колорит. Правда, сегодня ее булыжник, – а он был здесь еще в 50-е годы XX века, – сменила брусчатка. Узкие плиточные ленточки истертых, изъеденных дождями тротуаров уступили место асфальту. Но

вглядитесь: вот они могучие въездные арки, и эти приземистые каменные стены, пришедшие на смену дощатым заборам, и простенькие, но не похожие ни на какие другие двухэтажные и даже – здесь, в центре Петербурга, – одноэтажные постройки непонятного назначения, которые смотрят на нас подслеповатыми глазами выходцев из давно минувших времен.

У въездных арок сохранились кое-где тумбы различной формы для привязи лошадей: и гранитные, замшелые, почти ушедшие в землю, и – чугунные, по большей части уже расколотые и жалобно напоминающие о своей былой, многотрудной службе.

В двух-трех местах сохранились и деревянные ворота. Год рождения не определишь, но век девятнадцатый: дубовая доска, кованые петли, скобы…

Теперь, после того как минувшая война, а следом за ней и безнадзорное ветшание истребили часть старых, выходивших на Соловьевский флигелей, глазам прохожих открылись спрятанные за ними дворы, со всеми своими подсобками, каменными конюшнями, каретными сараями.

Надо сказать, что самому переулку, своеобразному его обличию во вред это не пошло. На месте порушенного поднялись за эти годы деревья, декоративный кустарник. Возникло ощущение простора. Дома как бы раздвинулись, уступая место зелени, солнцу и небу!..

Правда всему этому, как я недавно прочитал в газете, возможно вскоре придет конец. В лакунах переулка предполагается строительство шестиэтажных домов, которое конечно же полностью изменит облик заповедного Соловьевского. Не хотел бы я дожить до времени, когда это произойдет…

Особым украшением вот уже второй век переулку служит обелиск «Румянцова – победам» в Румянцевском сквере или Соловьевском саду, как мы его обычно называли. Когда обелиск переносили с Марсова поля на плац перед Кадетским корпусом, – а было это в 1819 году, – переулок уже давно существовал. И тогда же было особо выделено это более чем скромное существование затемненной узости между домами. Постамент с бронзовым орлом на вершине гранитной стелы установили строго по оси переулка. И оказалось, что у переулка есть еще одна служебная функция. В данном случае – весьма почетная: подобно лучу, высвечивать для всеобщего обозрения чуть ли не за километр, от самого Среднего проспекта, вершину увенчанного орлом постамента…

Вас никогда не занимал вопрос: а почему, собственно, переулок прерывается у Среднего? Ведь логичнее было, если бы

он пересекал остров параллельно Первой линии до самой Малой Невы. Во всяком случае, так и обозначен его путь – правда, не до самой Малой Невы – на плане Зигхейма, но на более поздних картах, в том числе и на плане Шуберта, Соловьевский уже не переступает Среднего проспекта.

Сегодня его былой путь к Малой Неве запирает нарядный шестиэтажный дом начала XX века. Этот дом №9 по Среднему, построенный на месте уже существовавшего дома, находился в собственности, как доходный, у историка архитектуры, человека хорошо известного в художественной среде Петербурга, Ивана Петровича Володихина. Судя по справочнику «Весь Петербург» за 1910 год, он сам жил в этом доме и, смею предположить, что окна его квартиры выходили как раз в створ Соловьевского, с прекрасным видом на парящего в отдалении над садом бронзового орла.

Вообще, с крыши и верхних этажей этого дома получаются лучшие фотоснимки переулка. Снятая чуть сверху, длинная, хранящая местами полумрак траншея между зданиями впечатляет своей почти гофмановской таинственностью. Художники тоже любят изображать переулок в ракурсах, при которых на заднем плане – обязательная вершина обелиска с орлом.

По-моему, лучший графический образ Соловьевского удался В. Сахенбергу, иллюстрировавшему книгу Вадима Шефнера «Сестра печали». На его гравюре, предваряющей книгу, переулок – сонный, полупустынный, с отчетливыми приметами своей старины, как бы хранит в себе ощущение чего-то трагического, что неизбежно должно произойти.

Герои книги Шефнера – юноша и девушка – приходят в этот переулок, который они между собой называют «Кошкиным»: «Мы свернули в безлюдный, тихий и мрачноватый Соловьевский. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к Румянцевскому обелиску, маячившему вдали. Леле неловко было ступать в своих городских туфельках по крупным, выпуклым булыжникам, и она, то теснее прижималась ко мне, то словно отшатывалась…»

Над героями «Сестры печали» уже нависла тень близкой войны. Вскоре она жестоко переломит через колено их жизни.

А переулку в зиму 1941 – 1942-го суждено было стать моргом под открытым небом. Сюда привозили на санках, фанерах умерших с голоду людей со всех окрестных улиц. Делали это – реже родственники, чаще – просто соседи покойных по коммуналкам.

Соловьевский переулок. Вид в сторону Среднего проспекта (вверху) и в сторону Соловьевского сада. 2002 г.

Да простят мертвые живым. Всю зиму трупы, завернутые в простыни, одеяла или безо всяких самодельных саванов лежали здесь вповалку под слоями снега… Мать рассказывала мне, что как-то на исходе ночи, в январе 1942-го, опаздывая на завод (она работала в радиоузле на Балтийском заводе), решила сократить дорогу, выйти из нашего дома на Средний проспект через

Соловьевский. Ворота были затворены, и она не могла открыть их, а когда налегла всем телом, чуть приоткрыла, то увидела мертвого старика. Он лежал, упираясь ногами в ворота, и луна освещала его лицо с белыми ледяными глазами…

Сюда под луну на Соловьевский попал, наверняка, и кто-то из родственников Тани Савичевой. Савичевы жили в доме №6/13 на углу Второй линии и Большого проспекта. В доме, который своим задним двором выходил в Соловьевский…

С этим переулком связаны у меня и воспоминания о Дне Победы. Наверное, я помню этот день буквально по часам, с той утренней минуты, когда соседка, тетя Маруся вдруг заголосила на всю квартиру: «Лика..! Победа!»

Потом мы, мальчишки с нескольких окрестных домов, собрались на Соловьевском. Здесь впритык друг к другу выстроились «Студебеккеры». В одних, под накрытыми брезентом кузовах, сидели солдаты, в других, может быть в одном или двух, были снаряды. Видимо, снаряды везли для фейерверка, который вечером должен был осветить город, в том числе и со Стрелки Васильевского. Те, кому положено было наблюдать за их сохранностью, отошли на минутку перекурить, и этой минуты было достаточно, чтобы еще десятью минутами позже мы извлекали из развинченного снаряда, – а такие «специалисты» среди нас были – «макаронный порох» – мечту каждого, кто хоть чуть-чуть в свои 12-13 лет соображал по части использования военного арсенала в увеселительных целях.

Подожженные и прижатые затем ногой «макароны», подобно маленьким ракетам, с шипением носились по подворотням. А когда их запас иссяк, мы отправились в «Гвоздильщик», магазин на Первой линии, и ухитрились разжиться там бутылкой «Спотыкача». Мы притащили ее в Соловьевский сад и тогда я сделал первый и – увы, увы! – не последний в своей жизни глоток вина.

А потом мы пошли на Дворцовую и слонялись там в ожидании гуляния возле Александровской колонны; и выехавший из улицы Халтурина грузовик сбил моего соседа по дому Вальку «Тытынча». Он даже проехал по нему передними колесами. И Валька умер на наших глазах.

Валька умер, а мне по жребию выпало пойти к его матери и сообщить обо всем, что случилось.

Я не пошел. Кишка оказалась тонка. Пошел Тимофей Михайлович, которому я, маясь возле Валькиной парадной, рассказал, что произошло.

Тимофей Михайлович или, как звали его, Тимоша, был одной из достопримечательностей переулка. Подвыпив, он любил петь и

делал это исключительно прилюдно в Соловьевском. Он утверждал, что стены здесь по-особому резонируют на его голос. И что он – акустик по флотской специальности – якобы особо это слышит и чувствует.

Мы, следуя его советам, пробовали проверять на резонанс некоторые точки переулка. И он, действительно, звучал в них по-особому, как инструмент, – то низко, бархатисто, стеля звук над булыжником, то высоко задирая его над каменными сараями. Теперь Соловьевский давно утратил эту свою музыкальность. Я уже говорил, что лишившись многих строений и набрав в легкие воздуха, он несколько изменил фактуру.

Достопримечательностью переулка был и некто Карнаков, в довоенном прошлом обладавший редкой профессией «чучельных дел мастера». Говорили, что благодаря шкурам чучел, – а точнее бульону, который получался после того, как он их вываривал, – он и выжил в блокаду! Выжил, но… «поехал умом». Он и вообще-то походил лицом и своим страдальчески-безумным взглядом на персонаж, впоследствии ставшей плакатом фотографии: помните, человек с кусочком хлеба в руке. Кроме безумного взгляда, Карнаков имел и язык, который нес черт-те что. Он говорил, что блокадник такой-то, проживающий в таком-то доме, квартире такой-то, съел всех умерших от голода своих соседей. Его сторонились; боялись, как нечистой силы. Но он останавливал людей и говорил, говорил, обставляя свои рассказы множеством чудовищных подробностей. В начале 50-х его насмерть забил «Женя-Строитель», услышав однажды, что его отец якобы был самым, что ни на есть, натуральным каннибалом.

Еще одной достопримечательностью переулка являлась вдова настоятеля храма Святой Екатерины по Кадетской линии. Я родился в доме, который принадлежал этому храму. Более того – в комнате, которая была когда-то домашней церковью. Муж попадьи ушел в мир иной по воле безбожников-большевиков. Сын нее предвоенные годы сидел в тюрьме. Но она осталась попадьей. Чудно, но, как я понимаю теперь, с особым смыслом одетая – в черное платье с черной кружевной накидкой. Встретив знакомого ей человека, она говорила всегда одно и то же: «Да минует нас…» А еще, пугая и вызывая недоумение, накладывала кресты на встречных детей.

К сожалению, дети эти так никогда и не стали добропорядочными христианами. Но зато странным образом рано воссияло в них нечто похожее на классовое чувство. В 1965 году в журнале «Искорка» я написал об этом обнаруженном мною феномене небольшой очерк «Съемки в Соловьевском переулке».

Суть его состояла в том, что во время съемок кинофильма про

достопамятный 1905 год – не помню уже, как назывался фильм – по Соловьевскому, разгоняя нагайками революционный народ, должны были промчаться конные казаки. Так вот, эпизод этот, на потеху местной шантрапе, снимался бесчисленное количество раз. Как только казаки влетали в переулок, на их головы из-за заборов, с крыш сараев, из подворотен начинало сыпаться все, что можно было превратить в оружие пролетариата. Лошади шарахались, вставали на дыбы, статисты в казачьей форме нещадно матерились. Все это приводило в бешенство режиссера. Фильм-то был исторический… И эпизод с казаками в нем, видимо, имел особый, трагический смысл.

На пяти машинописных страницах я довольно ловко изложил эту историю, придав ей в конце, правда, с помощью редактора, совершенно неожиданный поворот: дескать, это кровь дедов заговорила в пацанах с Соловьевского переулка «яростным всплеском симпатий и неприязни». Ведь так и написал, паршивец, «яростным всплеском». Впрочем, чего только не выходило из-под моего пера за долгую журналистскую жизнь.

На самом деле, подрастающие детки Соловьевского, конечно же, ни про какое классовое чувство понятия не имели. А были лишь нацелены, – как и во все времена, – на коллективное безобразие.

Хотя, если уж вспоминать времена ушедшие, бывало, вскипали в переулке действительно нешуточные страсти. Я помню постоянные драки с поножовщиной в 50-е годы, грабежи послевоенных лет.

Пухлое криминальное досье заведено на Соловьевский еще с 20-х годов. Судя по газетным сообщениям, были здесь даже свои «Джеки-потрошители».

После войны на моих глазах подрастал новый преступный мир переулка. В ряды уголовников подталкивали полуголодная жизнь, безотцовщина и то особое равнодушие к смерти и страданиям, которым наделила ленинградских подростков блокада. Из полутора десятков моих ровесников, живших в Соловьевском и на соседних линиях, семилетку со мной закончили 2-3 человека. Кто-то поступил в ремесленное, кто-то болтался без дела, но были и те, кто уже вышел на «кривую дорожку». Они гремели какое-то время у себя во дворах и кварталах, а затем исчезали надолго, оставляя в память о себе лишь свои клички: «Колян», «Бибигон», «Шиманоза»… Большинства из них, конечно же, давно нет в живых. Все-таки полвека с лишним прошло… Но вот еще в начале 90-х мне звонил на радио мой бывший одноклассник, известный в своей среде «вор в законе». Назовем его Андриан. Он сказал, что звонит из

тюремной больницы, сказал, что слышит иногда мои передачи, поинтересовался «жива ли мама?», спросил, рисую ли я, не забыл ли, как мы вместе ходили в изостудию на Девятой линии. И стал прощаться. Сказал, что больше уже не позвонит… Так ведь и не звонил всю жизнь. И не виделись мы ни разу с ним за полвека...

Зачем я вспоминаю все это? Зачем тревожу мрачноватые тени переулка? Не знаю… Наверное, мне хочется рассказать о Соловьевском то, что не говорил еще никто. Может быть, это моя обязанность, мой должок перед ним!

Ну, а славен переулок не только как одна из старейших улочек Васильевского, не только своими сохранившимися неповторимыми приметами XVIII и XIX веков, но и персонами, жившими здесь когда-то. В отличие от несчастных персонажей, упомянутых мною, то были действительно знаменитые персоны. Баснописец Крылов, архитектор Стасов, скульптор Козловский, археолог Шлиман, филолог Шишмарев, картограф Шуберт – все они хаживали не раз этой узкой, затененной дорогой.

Прошлись по ней и мы…

По Кадетской и Первой линиям
Прогулка вторая

в которой автор приглашает читателя пройтись с ним по границе бывшей усадьбы Меншикова, заглянуть в «кадетские, сады», узнать, что за дворцом светлейшего князя простирается таинственная «терра инкогнита», и вспомнить тех, кто строил дома на этих двух парадных линиях острова.

Мы идем по правому берегу старинного, давным-давно засыпанного канала. Теперь берег этот называется Съездовской, бывшей Кадетской линией. Левый берег – линия Первая. В принципе, не так важно, когда берега эти получили свои названия. Официально Кадетской линией правый берег стал называться лишь в 1737 году, в то время, как левый уже давно значился, как Первая линия, и был застроен до Большой Першпективы каменными домами.

Вообще-то, дай правому берегу название раньше, и он мог вполне называться Княжей или Меншиковой линией. Но в 1729 году светлейший князь Меншиков умер в изгнании и дворец его – первая каменная постройка на Васильевском – был отдан указом Анны Иоанновны Кадетскому корпусу. Отсюда и Кадетская линия.

Я буду называть ее так – Кадетская. Хотя она пока что сохраняет название Съездовская, данное ей в 1918-м, в первую годовщину Октябрьской революции. Дело в том, что в июне 1917 года в Кадетском корпусе проходил I съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов и это событие с участием В.И. Ленина дало повод лишить улицу ее исторического названия. Хотя судьбы, если не рабочих, то уж во всяком случае, крестьян в одном из зданий, принадлежавших корпусу (это – Съездовская, 3), пытались решать и раньше. Здесь на особых заседаниях в конце 1850 года вырабатывался текст Манифеста, освободившего крестьян от крепостного права. Событие это было запечатлено на мемориальной доске, которая находилась на здании еще в 1920-х годах, о чем и вспоминает поэт Вадим Шефнер. Это к тому, что линию можно было бы назвать и Александровской в память о царе-освободителе…

Впрочем, в конце концов, дело не в названии. Видимо,

набитая дорожка была здесь еще задолго до прорытия канала. Шла она по границе огромной усадьбы Александра Даниловича, простиравшейся на 12 гектарах от Большой до Малой Невы.

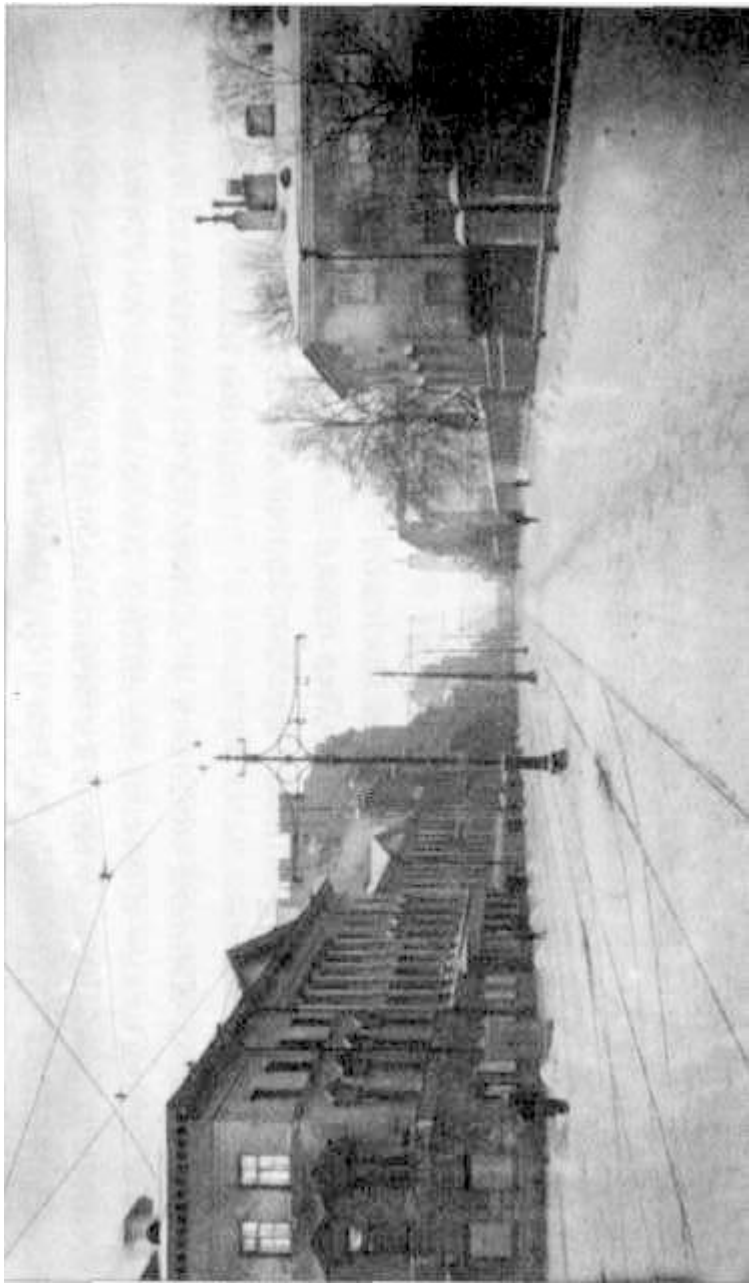
Усадьбу эту стали разбивать еще в 1704 году, вместе с началом строительства Меншиковым первого своего, тогда еще деревянного дворца, получившего название Посольский. Я не буду останавливаться на его истории, как и на истории каменных Меншиковых палат. Об этом написано много, даже слишком много.

Но вот об истории территорий, которые лежали за княжьими палатами к северу от Невы, хотелось бы сказать чуть подробнее.

Известно, что там некогда простирался роскошный сад Меншикова. Своими рощами, лабиринтами, крытыми аллеями, прудами, фонтанами он мог на равных соперничать с царским Летним садом. Сад постоянно расширялся и, что называется, хорошел на глазах, чему способствовал огромный штат садовников. Особой гордостью светлейшего были цветники, разбитые по обе стороны канальца, ведущего к Посольскому дворцу. Но не менее впечатляла и аллея, тянувшаяся вглубь острова мимо ухоженных лужаек, подстриженных на голландско-французский манер деревьев, фонтанов и статуй, которые Александр Данилович приобретал для своего сада за огромные деньги в Италии.

За садом был огород с ягодниками, теплицами, оранжереями, в которых, по оставшимся свидетельствам иностранных гостей светлейшего князя, вызревали даже ананасы! Собственно, вдоль этих бывших княжьих садов и огородов, и лежит наш путь по Кадетской.

Следует заметить, что судьба бывшего Меншиковского сада в XVIII веке складывалась не очень-то счастливо. После того, как дворец и сад опального светлейшего князя отошли в государственную казну, они стали быстро утрачивать свой былой облик.



Зима 1926 года… Что, собственно, изменилось на Первой и Съездовской (Кадетской) линиях с той поры? Да в общем-то ничего… Разве что исчезли трамвайные столбы, сняты рельсы, поворачивающие на Большой, снесена железная ограда у сада при доме №3 по Съездовской, да и сам маленький сад этот перестал существовать.

Кстати, о деревьях. Старожилы Васильевского помнят добрый

десяток гигантских тополей вдоль домов по Первой линии. Они были здесь и до войны, и долгие годы после войны. Тополя растут быстро. Но тогда, в 1926-м они были совсем юными. На снимке их силуэты можно различить через сильную лупу у домов №26, №28 и №32. Потом деревья станут большими, очень большими. И умрут одно за другим уже в 60-70-е годы. Время неумолимо… (Первая линия. Перспектива. 1926 г. Фотограф Андреевский.)

Н.В. Калязина в своей книге «Меншиковский дворец-музей» приводит данные о том, что по распоряжению Елизаветы Петровны, для быстрейшего устройства огромного парка возле третьего Летнего дворца, стоявшего на месте Инженерного замка, было велено взять из сада Кадетского корпуса 250 лип высотой более 2,5 метра.

Можно предположить, что и созданный в 1736 году тут же неподалеку, в Первой линии, Ботанический сад Академии наук не преминул воспользоваться кое-какими растениями из коллекции «светлейшего».

К тому времени Меншиковский сад сохранял свои размеры. На аксонометрическом плане Петербурга, который составил французский архитектор и топограф Сент-Илер в 1767 году, хорошо различимы огромные, рассеченные аллеями на прямоугольники, занимаемые им территории. Видна на плане и «катальная горка» – развлекательное сооружение, о котором почему-то редко упоминают историки города.

Но уже по-другому выглядел сад к концу XVIII века. Он утратил половину ранее отведенного ему пространства, «потеснился», освободив место плацу, на котором маршировали кадеты. Кстати, отсюда, с корпусного плаца, в 1804 году стартовал первый в России воздушный шар для проведения научных экспериментов, а в 1897 году здесь был проведен первый футбольный матч, от которого ведет историю российский футбол. Вообще-то футболом в России стали увлекаться раньше. Но этот матч между состоявшей из русских командой «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта» и командой англичан, представлявшей «Василеостровский кружок футболистов», был первым из замеченных прессой. Англичане победили 6:0 – о чем и писали газеты в конце октября 1897 года… Кстати, футбольное поле сохранилось. Только было оно в XIX веке гаревым…

Однако и в XIX веке «кадетские сады», как их тогда называли, продолжали привлекать островитян. По воскресным дням сюда был разрешен доступ «чистой публике». В глубине сада, в павильоне у прудов, устраивались танцы, играл военный оркестр… А сами пруды эти использовались знаменитым русским физиком Эмилием Ленцем для опытов по изучению

распределения температуры воды. Свою жизнь сад завершил в 20-е годы XX века. Тогда были вырублены на дрова его последние деревья. Тополя, которые выглядывают сегодня из-за каменной ограды в самом торце кажущегося монотонно-бесконечным здания Кадетского корпуса, появились здесь после войны.

И нет уже ни живых примет, ни свидетелей прошлой жизни корпуса. Разве что вкус настойки «Ерофеич», изобретенной корпусным лекарем В. Е. Вороновым – он жил где-то рядом на Первой линии – еще памятен в народе. Осталась и ограда прежнего сада. Но не самая старая. Первая была установлена здесь еще в 1781 году и имела назначение, отделив сад от улицы, создавать кадетам условия для их утреннего и вечернего моциона. Ограда эта со временем получила у василеостровцев прозвание «говорящая стена».

Вот что пишет о ней в своих недавно увидевших свет воспоминаниях живший по соседству знаменитый топограф Федор Шуберт: «Граф Ангальт, прежний директор Кадетского корпуса, самолично распорядился расписать всю стену сплошь картинками, рядом с которыми размещались соответствующие каждой нравоучительные изречения или правила поведения. Так как он сам был автором всех этих надписей, но был не слишком умен, то попадалось среди них многое, что давало поводы для смеха». Но смеялись здесь, под сенью кадетских садов, и по другим поводам. Например, когда читал однокашникам строки своей «Куклиады» кадет Кондратий Рылеев, или, лет за семьдесят до него, практиковался в язвительных сатирах будущий известный драматург, кадет Александр Сумароков.

Кстати, сад этот всегда был для кадетов, как, скажем, сады Царского села для лицеистов, «Приютом муз и вдохновенья». Многие из них становились в будущем известными литераторами, поэтами и, о чем следует сказать особо, – актерами. Да, здесь в стенах шляхетского сухопутного кадетского корпуса складывался первый профессиональный русский театр. Конечно, во многом способствовала этому сама личность Александра Сумарокова. Он писал не только оды и сатиры, но и пьесы, которые разыгрывались тут же в холодных спальнях корпуса Сашиными друзьями, поклонниками его таланта.

В 1749 году, когда закончивший корпус Сумароков стал уже известным поэтом и драматургом, здесь была поставлена его по тем временам знаменитая трагедия «Хорев». Александра Петровича пригласили в корпус посмотреть спектакль, и автор был изумлен вдохновенной игрой любительской кадетской группы. Слухи о юных дарованиях с помощью того же Сумарокова быстро дошли до Елизаветы Петровны, которая пригласила

кадетов сыграть «Хорева» во дворце. Пикантность же этой истории придает то обстоятельство, что все женские роли в спектакле, естественно, исполнялись юношами, и Елизавета, участвуя в подготовке спектакля, сама перед выходом на сцену румянила «дамам» щеки и вдевала в уши серьги с бриллиантами.

Здесь же закрутилась интрига вокруг красавца Никиты Бекетова, быстро вошедшего в фавор к Елизавете. Чтобы расправиться с юношей, претендовавшим на место Шуваловых, был пущен слух о причастности Никиты к «садомскому греху…».

Для поддержки кадетской самодеятельности из Ярославля в Петербург была вызвана группа актеров во главе с Федором Волковым, которая и сыграла на придворной сцене все написанные Сумароковым трагедии, а затем поселилась в корпусе, чтобы учиться и «учить». От кадет они отличались лишь формой одежды Особой прилежностью к наукам выделялся Федор Волков. Кроме наук, которые преподавали кадетам, а также искусства декламации, Волков самостоятельно упражнялся в рисовании и музыке, и траты имел, – как пишет биограф Волкова А. А. Ярцев, – на покупку «нужных ему театральных книг». При этом закладывал за неимением денег «епанчу на лисьем меху и плащ суконный красный» в самые холодные зимние месяцы.

В 1756 году последовал Указ правительствующему сенату об учреждении российского театра: «Актеров набрать из обучающихся в кадетском корпусе певчих и ярославцев, к ним прибавить других не служащих людей и актрис».

Вот так неожиданно – и это воинское сооружение Джузеппе Трезини, эта каменная ограда старого сада, эти места, где учился Сумароков и преподавали Херасков и Княжнин, – могут напомнить нам историю создания профессионального российского театра.

Вообще каким-то особым таинством наполнены эти пространства бывшей Меншиковской усадьбы. Они были всегда – и два века назад, и век, и уже в мое время – скрыты от обозрения. Они таились за сонными корпусами низкорослых военных зданий, прятались за каменными оградами, отсекались глухими переулками, а затем и возникшими в этих переулках владениями маленьких заводов, крошечных фабрик, секретных контор, институтов и училищ, вход в которые всегда охранялся от посторонних.

Я, как и очень многие василеостровцы, никогда не был внутри этих пространств, обозначенных на современных планах города бледно-зеленой краской как «нежилая застройка».

Конечно, трудно назвать «неживью» или точнее – «нежилью» все, что относится к Университетскому городку и лежит к востоку

от Филологического переулка. Здесь жизнь бьет ключом. Здания Двенадцати коллегий, набережная, Менделеевская и Биржевая линии наполнены господами студентами; в библиотеке Академии наук восседают над фолиантами ученые мужи, а знаменитые музеи на Стрелке принимают тысячи гостей города.

Истинная «нежиль» обосновалась ближе к Кадетской, за спиной самого Меншиковского дворца.

Когда я впервые попал в этот дворец с экскурсией, то сразу же, непроизвольно, ринулся к окнам, выходящим в его внутренний двор. Я не увидел там ничего удивительного, но все-таки шарил и шарил глазами, стараясь понять, как устроено это закулисье.

А ведь оно как-то устроено. Имеет свою географию, свои ориентиры. Кто знает, что находится за зданием, принадлежащим Государственному Оптическому Институту, которое просматривается с Донского и Тучкова переулков? Кто задумался: а с чем, собственно, граничит с юга Биржевой переулок? Обо всем этом осведомлена сотня-другая живущих на границах с этой «неизвестной землей» аборигенов. Для всех остальных сие было долгие десятилетия тайной за семью печатями.

Помню один повторяющийся сон, который посещал меня в юности. Будто я, каким-то чудом, вошел в эту таинственную зону. Там есть – лесок; пригорок, по которому стоят кресты древнего погоста; и ручей течет в сторону Невы. Кто-то ищет меня, узнав, что я пробрался сюда, нарушив запрет. Меня преследуют. И я, петляя по Бог весть откуда взявшимся здесь узеньким улочкам, похожим и на Соловьевский, и на Волховской переулки, пытаюсь вырваться из их лабиринтов. Это преследование, с криками, улюлюканьем, лаем собак длится долго, пока я не просыпаюсь в ужасе, окончательно поняв, что заблудился и вот-вот буду схвачен…

Много позже я рассказал об этом сне знакомому психиатру. Он глянул на меня исподлобья: «Ты что-то забыл там?…» Теперь, на пороге старости, я понимаю: «там» осталось самое жадное существо на свете – подавленное юношеское любопытство; интерес к тому, что находится рядом, и о чем почему-то не дано знать… Кстати, это Зазеркалье, где некогда располагались склады купца Елисеева, Андрей Н., автор проекта «Эксперимент на Васильевском», после того, как остров поднимет мосты, отводил под огромную туристическую зону. Дескать, именно здесь, и в старинных улочках-переулочках сам Бог велел нам «стричь» интуриста.

Усадьба Меншикова в ее былых границах прекратила свое существование сразу же после высылки Александра Даниловича в

Березов. Хотя еще при Екатерине I в 1726 году предполагалось начать на Кадетской каменное строительство.

В начале же 1730-х все простиравшиеся до Малой Невы земли стали раздавать новым застройщикам, а часть бывшей усадьбы, переданная Кадетскому корпусу, теперь дотягивалась со стороны нынешней Съездовской линии лишь до Кубанского переулка, одного из самых крошечных на Васильевском, как и соседний с ним Донской переулок. Когда-то, правда, Кубанский был длиной не в один дом, как теперь. Назывался он тогда Загибениным и проходил —действительно делая «загибы» перед границей Кадетского корпуса – маршрутом нынешнего Тучкова и Волховского переулков.

Надо сказать, что Загибенин переулок (в той его части, которая стала впоследствии называться Тучковым) играл для Кадетской линии ту же роль, что для Первой линии – Соловьевский, о котором я столь подробно рассказывал в предыдущей главе. Дома здесь до Среднего проспекта тоже не имеют въездов во дворы со стороны фасадов. Это – особенность парадной линии, каковой и стала Кадетская.

Съездовская линия, дом №9. Это одна из первых работ Федора Лидваля в Петербурге. 2002г.

Давайте остановимся у одного из домов на бывшей границе с Кадетским корпусом. Это дом № 9, одна из ранних работ Федора Лидваля. Он перестраивал его в 1900 году из уже существовавшего дома. Тогда же строился им и знаменитый доходный дом на Каменноостровском, 1-3. И если в доме на Петроградской вполне просматривался стиль будущего мастера «Северного модерна», про дом на Съездовской ничего подобного не скажешь.

О модерне напоминает разве что «кабанчик» – первый этаж, облицованный глазированной плиткой. Что ж, таковым, наверное, был заказ молодому архитектору: возвести дом добротный, вместительный, но без выкрутасов. Впрочем, может быть, были и

другие соображения, например: сохранить стиль ансамбля Кадетской и Первой линий.

В последние годы своей жизни, находясь в Швеции, Лидваль часто вспоминал о домах, построенных им в Петербурге. Зная, каким бомбежкам и артобстрелам подвергается блокадный Ленинград, переживал за их судьбу. Удивительно, но все лидвалевские дома, – а их в Петербурге более тридцати – сохранились. Но этого уже не дано было знать архитектору, скончавшемуся в 1945-м, перед самым Днем Победы.

Итак, свой первый в Петербурге доходный дом Лидваль построил на Кадетской линии. А в 1911 году здесь же на Кадетской, в доме №29 поселился автор проекта строительства «Нового Петербурга» Иван Александрович Фомин. И они будут работать вместе над осуществлением этого проекта. Я уже говорил, что Лидваль строил жилые дома на Голодае в 1912-1914 годах. Это были его последние работы в Петербурге. Перед тем, как навсегда покинуть Россию, он прощался с Фоминым, возможно здесь, на Кадетской.

Вообще-то, Кадетская и Первая линии Васильевского соединили творчество архитекторов Петербурга разных эпох и направлений, при этом не нарушив целостности облика улиц. Здесь оставляли свой след Иоганн Готфрид Шедель и Джузеппе Трезини, Ф. И. Руска и А. А. Михайлов 2-й, В. П. Стасов и А. П. Брюллов, Ф. И. Нестеров и Ю. Ф. Бруни, Ф. И. Лидваль и Л. Л. Бонштед.

Дома стоят на Кадетской и Первой, тесно прижавшись друг к другу, по ширине своей повторяя участки, где находились их предшественники. Стандартный размер: пять-семь окон по фасаду – больше – значит при перестройке использовано два или даже три участка. Уже будучи многократно обновленными, они при этом часто сохраняют черты эпохи, имеют свое, особое «выражение лица», а главное – не нарушают эстетического восприятия архитектурного ансамбля улицы в целом.

Вот, хотя бы, один пример. В 1890 году архитектором Юлием Бруни перестраивался и надстраивался двухэтажный особняк у Румянцевского сквера на Первой линии, 2. Сорока годами раньше Николаем Беккером перестраивался здесь и дом №18 – это угол Большого проспекта, где находился ранее дом работы известного архитектора Адамини. Дома перестраивались в доходные. Середина и особенно 3-я четверть XIX века превращала постройки для именитых, – купеческие или дворянские, но для одной семьи, – в многоквартирные дома, которые следовало сдавать внаем. Они становились объемнее, по-своему наряднее и, как правило, подрастали в этажах. Но, обратите внимание, не

нарушая при этом Указа 1844 года, по которому нельзя было строить здания выше 11 саженей (23,4 метра). И эта особенность, а еще во многом сама архитектурная стилистика обновлений сохранили для нас в какой-то степени и облик соседствующих с относительно молодыми зданиями безвестных выходцев из петровской и екатерининской эпох. И потому так трогательно, так «по уютному», на месте, смотрятся сегодня «старички» на отрезке Первой линии между «обновленными» Бруни и Беккером домами № 2 и № 18. Это и дом №8, где жил когда-то баснописец Иван Крылов, и дом №12, которым владел знаменитый автор «Плана Столичного города Петербурга» картограф Федор Шуберт, и дом-гномик всего в четыре окна по фасаду, где обитал прославленный творец памятника Суворову, скульптор Михаил Козловский, и дом №16 – он чуть крупнее своего соседа, – где теперь, после доказательных исследований Галины Никитенко, должна находиться памятная доска, говорящая о том, что именно здесь жил и творил великий архитектор Василий Стасов (доска эта долгое время ошибочно находилась на фасаде дома №18).

Та же картина и на Кадетской. Бывшие особняки ничуть не теряют своей прелести в компании «новоселов» середины и конца XIX века. Что же касается века XX, то он тоже не слишком-то нарушил архитектурный ритм этих улиц. «Шестиэтажки» Антония Носалевича (Первая, 42) и Максима Переулочного (Первая, 26) меняют выражение их лиц не более, чем чуть поднятые в удивлении брови.

Когда фасады домов на Первой и Кадетской после очередных косметических ремонтов приобретают нежные пастельные тона – от голубого до светлоохристого, розово-палевого, – эти две линии начинают излучать особую, утонченную красоту и становятся, действительно, одними из самых заметных, самых парадных, самых петербургских улиц нашего города.

О них бы надо написать отдельную книгу. Такую же, скажем, как написал Петр Яковлевич Канн о набережных Фонтанки, Мойки и Садовой улице. У меня – другой жанр, другой, куда как меньший, чем у него, объем знаний, а потому и «поспешаю» я в своих прогулках.

Итак, вернемся на Кадетскую к дому №11 на углу Кубанского переулка. Дом этот построен в 1853 году по проекту Людвига Бонштедта на том самом месте, где когда-то в XVIII веке в доме княгини Троекуровой жил «несчастный пиита» Василий Тредиаковский, жертва пожара 1747 года, уничтожившего его библиотеку и тысячи страниц рукописей. Двухэтажное, безордерное, – видимо, к этому времени от классицизма уже стали уставать, – здание поражает своей таящей силу гиревика

кряжистостью и непомерно большими для доходного дома окнами. Впрочем, окна домов и размером своим, и сандриками, и даже конструкциями рам намекают на причастность их к той или иной эпохе. Хотя, скажем, щеголяющий своими решетчатыми елизаветинских времен окнами, соседний дом № 13, где многие годы размещается больница пароходства, конечно же, времен этих помнить не может, так как появился он в этом старинном обличии в 1975 году.

Тогда же появился здесь и «обновленный» под ту же эпоху, сохраняющий выправку домов «для именитых» дом №15. А вот его трехэтажный сосед, дом № 17, остался экстерьером своим верен веку девятнадцатому. Хотя мог бы претендовать и на другой наряд: ведь он был каменным особняком еще с 30-х годов XVIII века…

У дома №19 – судьба особая. Здесь многие годы размещалось заведение Гейде с гостиницей и рестораном. М.И. Пыляев в книге «Старое житье» воспроизводит дневник какого-то жившего здесь заезжего гастронома, то ли москвича, то ли провинциала. Там есть такая запись: «1 июня 1829 года обедал в гостинице Гейде на Васильевском острову, в Кадетской линии. Русских почти здесь не видно, все иностранцы. Обед дешевый: два рубля ассигнациями, но пироженного не подают никакого и ни за какие деньги. Странный обычай! В салат кладут мало масла и много уксуса».

Г. Никитенко и В. Соболь приводят свидетельство об этом ресторане писателя и журналиста И. И. Панаева: «Это заведение не имеет ничего общего с баснословно дорогими ресторанами Дюссо, Донона и Бареля… Два бильярда, кости и пиво. Это немецкий клуб, пропитанный табачным запахом, всегда полный своих обычных посетителей, которые молчаливо и глубокомысленно пощелкивают бильярдными шарами или костями, покуривая свои сигары и попивая свое пиво…» Заведение Гейде существовало здесь долго. В «Путеводителе по С.-Петербургу» А.П. Червякова, изданном в 1865 году, говорится, что гостиница славится чистотой комнат, опрятностью прислуги и столом в немецком духе.

Но прервем нашу прогулку с тем, чтобы продолжить ее уже в следующей главе.

По Кадетской и Первой линиям Прогулка вторая (продолжение)

из которой читатель сможет узнать, как была открыта загадка местонахождения лаборатории, в которой Ломоносов бился над тайнами фарфора и варил красочные смальты; вникнуть в трагедию церкви Святой мученицы Екатерины, а также разобраться, почему дом № 12 по Первой линии, принадлежавший знаменитому картографу Федору Шуберту, так походит на дом знаменитого архитектора Александра Брюллова по Кадетской линии, 21.

Первым владельцем участка, на котором стоит дом №21, был дворянин Семен Челищев. В начале 1730-х годов он заложил здесь фундамент дома. Но когда и кем дом этот был построен – доподлинно не известно.

Впервые он значится на плане 1785 года, и, как предполагают, сохранился без существенных изменений по сию пору.

У него было поочередно несколько хозяев. Один из них – купец Иван Билибин – владел им в начале XIX века и передал дом в наследство своему сыну Якову. Живший по соседству в доме № 23 знаменитый художник Дмитрий Левицкий писал на заказ портреты членов семьи Билибиных, и портреты эти сохранились до наших дней.

В 1836 году дом принадлежал уже коллежскому советнику Попову, и вот у его вдовы, Анны Вильгельмовны, дом в 1845 году купил замечательный русский архитектор Александр Павлович Брюллов. О том, что он владел им долгие годы, напоминает мраморная доска на фасаде. Брюллов реконструировал его внутренние помещения, построил во дворе новые флигели, один из которых, выходящий на бывший Загибенин переулок, сдавал внаем.

Дом легок и удивительно соразмерен. Его фасад украшен

двумя скульптурными фризами с фигурками веселящихся детей.

Вообще-то, дому архитектора Брюллова посвящена книга Т. Пашковой и А. Блинова. Но на свидания с ним я приходил с правнучкой архитектора – Тамарой Петровной Шаскольской и председателем историко-краеведческого клуба «Васильевский остров» Мариной Георгиевной Козыревой. Они рассказывали мне о трагедии, которая нависла над этим домом. Внешне еще привлекательный с фасада, он имел следы тяжелых болезней, подтачивающих его изнутри.

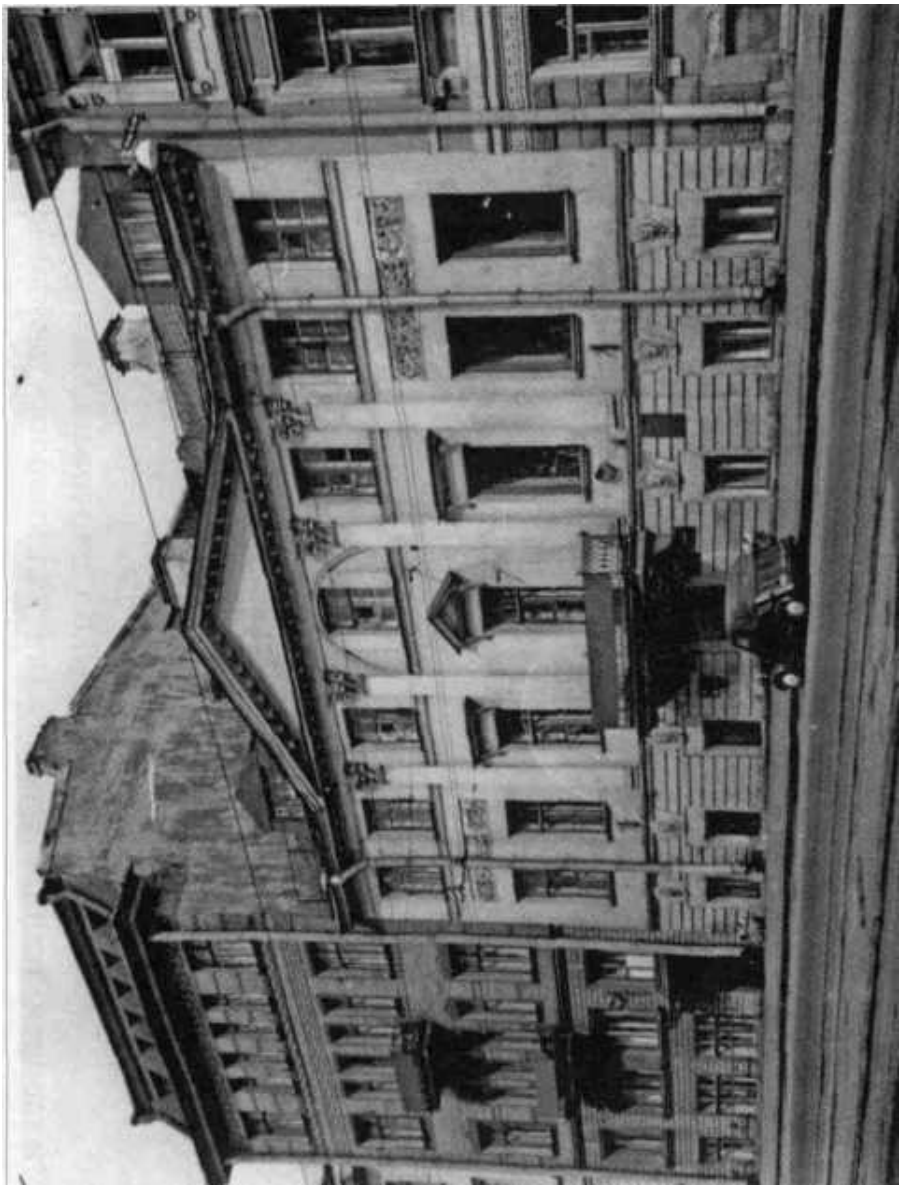
Вот данные на лето 2002 года. Обветшали стены, протекает кровля. Поэтому юношеская библиотека, которая обитала здесь, год назад покинула здание. В замечательном, сработанном по проекту Брюллова Помпейском зале грозил рухнуть потолок. Печалью запустения наполнены спроектированные некогда Александром Павловичем внутренние дворики. В одном из них, ближнем к Кадетской, с пронизанной трещинами стены рухнула статуя покровителя муз Аполлона Мусабета. Когда это произошло, трудно сказать: от Аполлона остались лишь ступни ног, а я еще помню, как ходил любоваться на него в 60-е…

До юбилея города оставалось совсем мало времени, но ремонтники по-прежнему не спешили придти сюда. Они придут лишь в 2004-м году…

А ведь этот дом был когда-то одним из оазисов петербургской культуры. И при жизни А. П. Брюллова, и уже после того, как дом перешел во владение замечательного архитектора, автора проектов множества жилых и общественных петербургских зданий Павла Юльевича Сюзора. Он был женат на одной из дочерей Александра Павловича – Софье, и после смерти Брюллова поселился здесь, на Кадетской.

Сюзор был основателем и многие годы неизменным председателем созданного в 1903 году общества архитекторов-художников. В доме этом бывали многие известные петербургские зодчие, графики и живописцы того времени.

При обществе была создана «особая комиссия с целью выявления, изучения и защиты памятников старого Петербурга», так сказать, предтеча известного всем нам сегодня ГИОПа. И вот по инициативе этой комиссии осенью 1907 года был основан Музей Старого Петербурга. Мало кто знает, но был такой музей в нашем городе. И располагался он в доме №21 по Кадетской линии.



Это один из самых старых, самый изящный и, пожалуй, самый знаменитый жилой дом на Съездовской и Первой линиях. Им владели в разное время прекрасные российские зодчие Александр Брюллов и Павел Сюзор. Здесь, по адресу Кадетская, 21 в 1907 году был открыт Музей Старого Петербурга, предшественник нынешнего огромного музея Истории Санкт-Петербурга. (Вид на дом Брюллова. Фотограф А.А. Клейман.)

Первоначально музей занимал один из кабинетов Академии Художеств, но площади для экспозиции там явно не хватало и руководители музея обратились к Павлу Юльевичу с просьбой

временно разместить музей у себя. «Временная прописка» превратилась в постоянную на долгие десять лет. Музей размещался в самом прекрасном помещении дома – Помпейском зале – и нескольких соседних с ним комнатах.

Он насчитывал около трех тысяч единиц хранения, среди которых были картины и фотографии по истории города, архитектурные макеты, лепные и металлические детали украшения фасадов; а главное – уникальные подлинники чертежей Растрелли, Кваренги, Камерона, Воронихина, авторские рисунки, наброски, акварели других замечательных архитекторов.

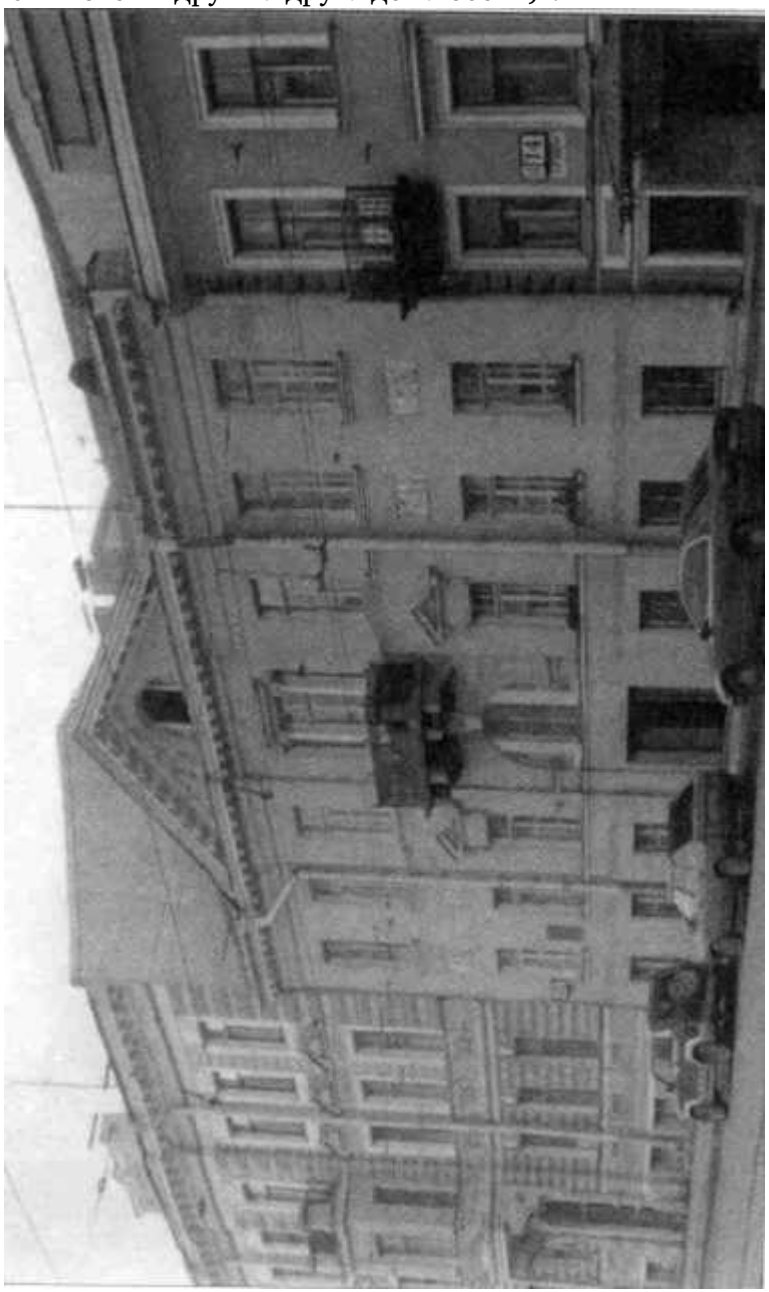
Музей открывался для посетителей два раза в неделю и просуществовал здесь до лета 1917 года, когда его экспонаты стали перевозить в более удобные помещения в Зимнем дворце. В дальнейшем Музей Старого Петербурга многократно менял адреса; его экспонаты положили начало музею Истории Санкт-Петербурга.

А вот с колыбелью «Старого Петербурга», домом №21 по Кадетской, еще в 1919 году произошла печальная история. Он был реквизирован и передан новой властью под коммунальные квартиры. Тогда же, потрясенный всем случившимся, умер и Павел Юльевич Сюзор.

Авторы книги «Дом архитектора Брюллова» в поисках сходных с ним по архитектуре домов обращаются к зданию, находящемуся в самом конце Первой линии у Тучкова моста – больнице Святой Марии Магдалины. Это монументальное строение конца XVIII века, действительно, имеет портик из шести пилястр и венчающий его треугольный фронтон. Но еще большим сходством с домом Брюллова обладает старинный дом №12 по Первой линии, принадлежавший знаменитому картографу Петербурга Федору Шуберту. В отличие от больницы Святой Марии Магдалины он соразмерен дому Брюллова – имеет также семь окон по фасаду, треугольный фронтон и единственный на фасаде балкон, правда, на уровне третьего этажа, а не второго, как у Брюллова. Портика он не имеет, но зато украшен, как и дом на Кадетской, скульптурными фризами.

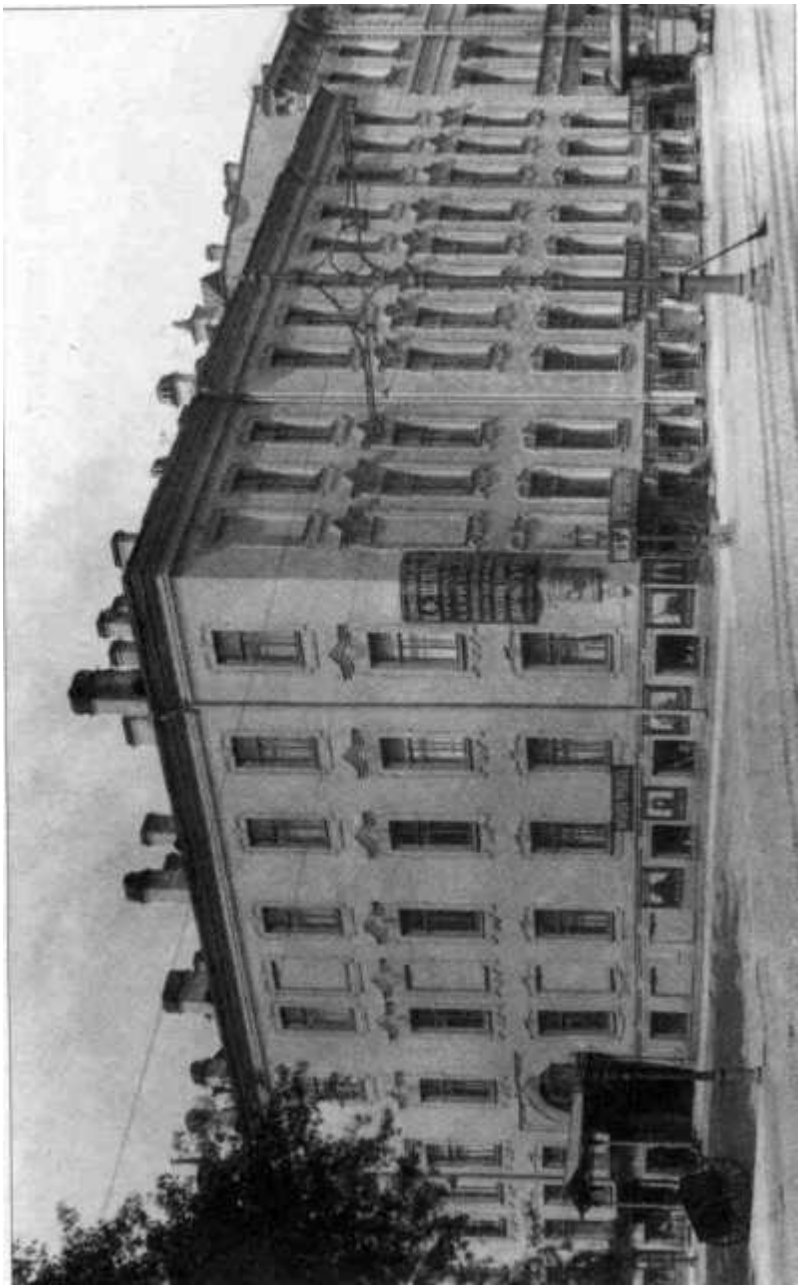
М.Г. Козырева, например, считает, что эти дома вообще родственны между собой, как были родственниками и их владельцы. Действительно, и об этом Козырева пишет в своем очерке «История дома Шуберта» (журнал «Петербургская недвижимость», № 41), Федор Шуберт и Александр Брюллов были женаты на родных сестрах – дочерях придворного банкира Александра фон Раля. При этом – я цитирую Козыреву – «Брюллова с Шубертом связывали не только родственные отношения. Шуберт был одним из пяти учредителей „Общества

поощрения художеств“ и его секретарем почетным членом Академии художеств и членом комиссии по созданию Пулковской обсерватории, которую строил Брюллов, и т д Художник не раз рисовал членов семьи Шуберта, перестраивал его дачу в Павловске, и можно предполагать, что главная перестройка дома Шуберта, полностью изменившая его внешний вид и одевшая его в „классический наряд“, была сделана по проекту А. П. Брюллова (уж очень похожи друг на друга дома обоих)».



Дом №12 по Первой линии знаменит тем, что в нем с 1830 по 1860 годы жил знаменитый геодезист и картограф Ф.Ф. Шуберт – создатель одного из самых подробных планов Петербурга XIX века. 2002 г.

Сама история дома Шуберта – это отдельный рассказ. В нем должны присутствовать: первый владелец дома генерал-аншеф Леонтьев, сын и внук Леонтьева – генералы, участники Семилетней войны, мастер «Печения французских хлебов» Шафф, купчиха Глухова, надворная советница Кузнецова, полковничиха Басова и, наконец, сам Федор Шуберт, основатель научной картографии в России, автор плана «Столичного города С.-Петербурга». Кроме того, героями этого рассказа станут сыновья и дочери Шуберта, его внучки от старшей дочери – известная участница Парижской Коммуны Анна Жаклар (которой, кстати, в этом же доме предлагал руку и сердце Федор Михайлович Достоевский) и первая женщина-математик Софья Ковалевская, а также один из последних владельцев дома небезызвестный архитектор Борис Константинович Веселовский, женатый на дочери архитектора Бруни, жившего здесь же, на Первой, в доме №4. Когда-нибудь, уверен, эта история в самом подробном виде увидит свет из-под пера М.Г.Козыревой. Дом №12 по Первой и его обитатели достойны особой книги.

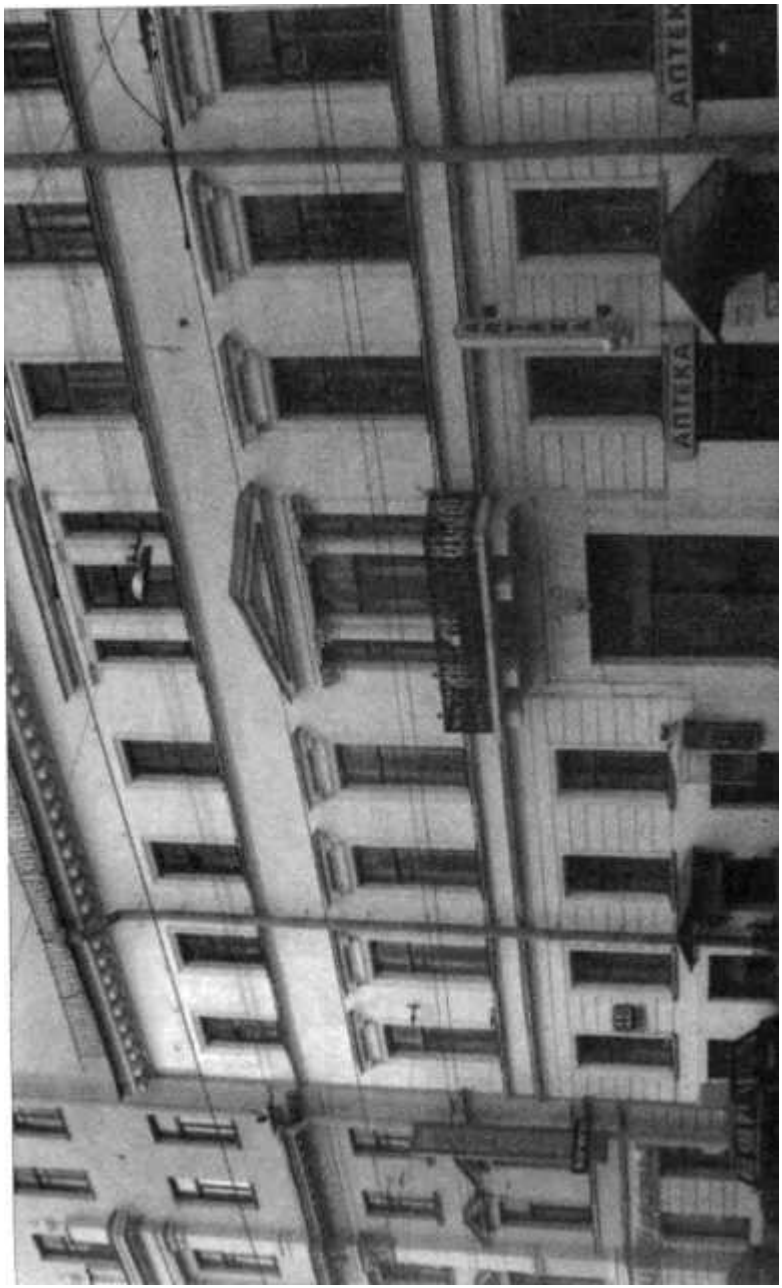


Из истории этого дома в начале Первой линии известно, что он принадлежал когда-то соратнику Петра I, секретарю тайного кабинета А. В. Макарову. Здесь жили впоследствии первый русский профессиональный актер Фёдор Волков и известный мореплаватель вице-адмирал П. И. Рикорд, а в начале 1890-х в нем снимала помещение живописная мастерская Грейфенберга. Спустя 20 лет, как свидетельствует фотография, здесь уже «царствовал» некто

И. Ф. Шарф, преемник Франца Урлауба, специалиста по части насосов, пожарных труб и технических котлов. (Первая линия, дом №2. 1910-е гг. Фотограф К. Булла).

…Итак, миновав на Кадетской дом Брюллова и соседний с ним, похожий на худющего, но очень аккуратно одетого господина, дом №23, где жил российский портретист Дмитрий Левицкий, и который напрочь переделал уже в XX веке архитектор Леонид Фуфаевский, мы выйдем на угол Среднего проспекта к домам №25 и №27.

В 25-м – об этом помнят все старые василеостровцы – была когда-то керосиновая лавка. Она работала еще в конце 40-х годов, пока, побежденные газовыми плитами, не смолкли примусы в наших кухнях. Я помню, как приходил сюда до войны с бабушкой и подолгу, пока шла очередь, смотрел, как плещется в цинковом бассейне прозрачная жидкость, издающая резкий, но почему-то казавшийся мне приятным, запах. А многие годы спустя я с удивлением прочту у Мандельштама столь понятное мне признание: «сладко пахнет белый керосин…»



Дом №40 по Первой линии, где прошли детство и юность автора этой книги. Только тогда львиная маска над парадной была черная…2002 г.

В доме №27, где в начале века был известный на Васильевском ресторан «Лондон», уже ближе к Первой мировой обосновавшийся по нечетной стороне Среднего на углу Восьмой линии, жил друг моей юности Владлен Кузьмин. Он, как я помню,

вызывал у меня глубокую зависть своими, по тем временам казавшимися мне необъятными архитектурными познаниями, способностью различать ордера и стили, толковать о всех этих «сандриках», «аттиках», «пилястрах» и «курдонерах»…

Поражал и двор, с которого надо было попадать в его квартиру. Здесь был и удивительные, чем-то напоминающие Одессу, каменные трехъярусные галереи. Они исчезли после капремонта, уже в 60-е годы.

Следующая наша остановка – церковь Святой Мученицы Екатерины на Кадетской линии, одна из доминант Васильевского.

Сооруженная по проекту А.А. Михайлова 2-го, внешне, за счет своего огромного купола и могучей, трехъярусной колокольни, она кажется несколько тяжеловатой. Но внутри церковь была удивительно светлой и просторной. Была… При Советах, в 30-е годы, храм, так сказать, «реконструировали». Дарующее торжественный настрой пространство, перекрытиями разделили на три этажа, и словно в мясной лавке, расчленили его вертикальными перегородками на ломти «помещений».

В изуродованном храме разместились производственные мастерские, по слухам, имевшие дело с ртутью. Острословы из числа безбожников стали называть храм «Церковью с пионером», имея в виду как бы поднятую в салюте руку ангела на вершине купола.

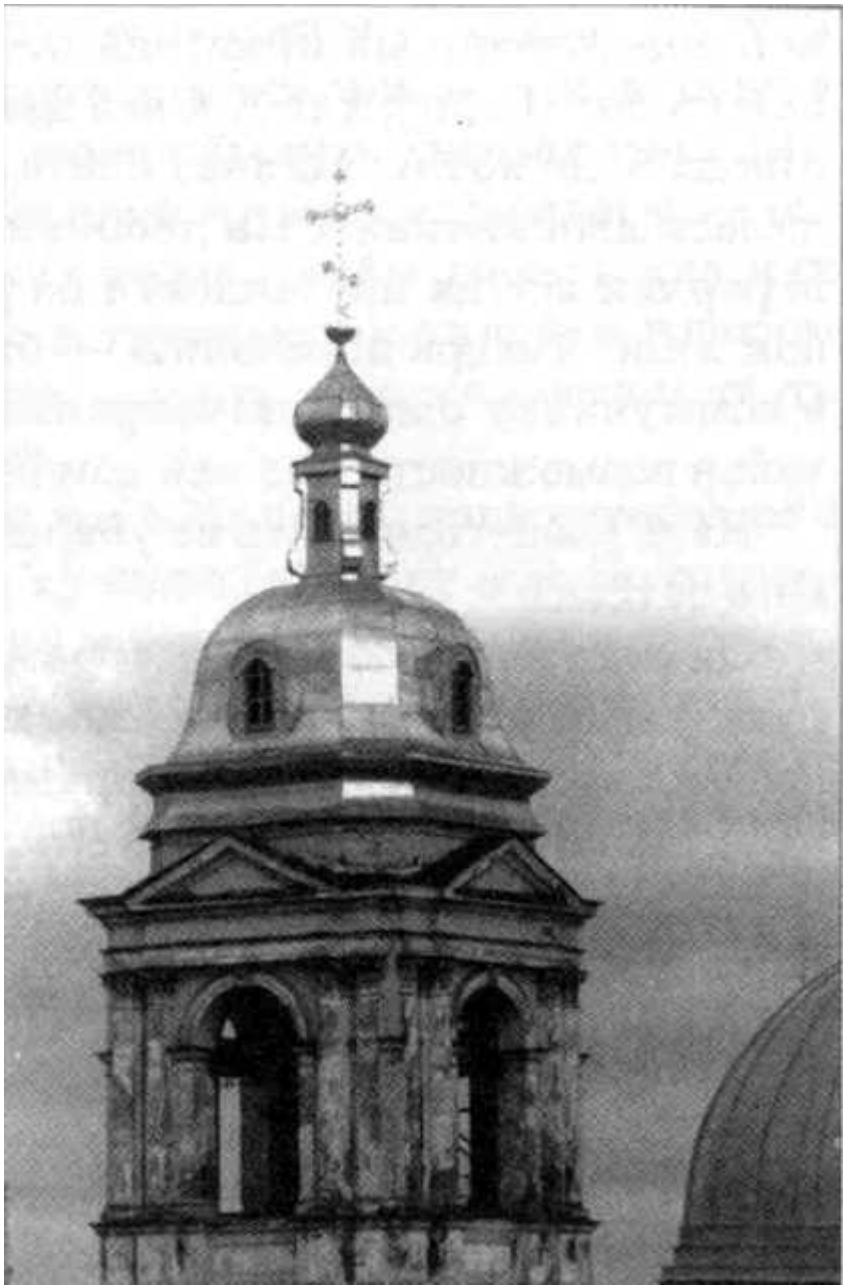
Я уже говорил, что родился в бывшей квартире священника храма Святой Екатерины, в комнате с высоченными потолками, которая служила когда-то домовой церковью.

Это дом №40 по Первой линии. Он же, выходящий задним флигелем на Соловьёвский, – дом № 41. Начиная с середины XVIII века, дом этот, так или иначе, был связан с церковью. Один из двух участков, на которых стоит нынешнее здание, когда-то принадлежал Устюжинскому архиерею. А уже на исходе века XIX дом был куплен церковью Святой Екатерины. Свой, выполненный в классическом стиле фасад, смотрящий на Первую, он получил в 1830-м, когда перестаивался архитектором П.И. Габерцетелем; тогда же был возведён третий этаж и появились дворовые флигели.

По-видимому, храм на Кадетской линии купил этот дом для своих служителей– благо, не надо далеко ходить к заутреней. Однако он использовался церковью Святой Екатерины и как доходный. В начале XX века здесь снимали квартиры художники Зинаида Серебрякова и Николай Радлов, а уже в советское время – известный маринист Н.Е. Бубликов.

Естественно, обо всём этом я узнал уже в свои зрелые годы, когда вплотную заинтересовался историей острова. Однако

наивное любопытство к облику дома, в котором я жил, проявилось ещё в раннем детстве. Мне было, наверное, лет пять, когда я обратил внимание на львиную маску, украшающую вход в дом со стороны Первой линии. «Зачем здесь лев?» – пристал я к отцу. «Чтобы охранять нас…» – последовал ответ. «От кого?», «От всего, сынок, от всего на свете». Я, конечно же, не понял отца или, точнее, понял его по-своему. С той поры лев стал постоянным героем моих детских рисунков. Он стоял с винтовкой в красноармейском шлеме; он выглядывал из кабины «ястребка»; он спускался на льдину к полярникам с айболитским саквояжем и вязанкой дров; он тушилогонь из длиннющей, похожей на черную змею, пожарной кишки… «Львиадой» называл отец эту бесконечную серию моих рисунков и сам порой подбрасывал мне для нее тот или иной сюжетик…



Колокольня церкви Святой Мученицы Екатерины. 2002 г.

Я вспоминал о своем доме на Первой в 1942-м в жутких бараках омского детприемника и по привычке мысленно обращался ко льву. Я просил его сохранить этот дом от бомб и снарядов, не дать погибнуть моей маме и помочь мне поскорее вернуться в Ленинград…

Зимой 44-го, почти сразу же после снятия блокады, меня отыскали и привезли в Питер командированные по срочному делу

в Сибирь мамины знакомые с Балтийского завода. И я вновь увидел на фасаде своего дома загадочно-грозную львиную маску.

Лев сберег дом от разрушения, но не полностью: его дворовый флигель, выходящий на Соловьёвский, от попадания бомбы превратился в руины. Сохранились лишь стены и кое-где свисающие вниз, державшиеся на честном слове, дощатые перекрытия.

Перекрытия эти и стали лакомым объектом нашей с Малявой «дровяной охоты»… Но «прежде всего» о самом Маляве. Это был мой ещё довоенный приятель по двору. Он и встретил меня, как приятеля: «Вернулся? А я всё думал, где же ты? Может, умер от голода?». До войны Малява обитал в подвальном этаже, где находилась дворницкая. Сын дворника, он, однако, в нашей дворовой иерархии всегда претендовал на роль принца и полководца в одном лице. Теперь Малявины – отсюда и «Малява» – переехали в коммуналку одного из сохранившихся флигелей – благо была такая возможность, так как дом наполовину пустовал.

Надо сказать, что лев не уберег от утрат и приятеля моего раннего детства.

Он стал жертвой войны и зримым напоминанием о ней. Правая рука его отсутствовала по самое плечо, а череп от затылка до висков был иссечен короткими шрамами. За годы блокады Малява – я буду по привычке называть его так, хотя настоящее имя его было Владимир – научился жить, чтобы наперекор всему выжить: он ел все то, что казалось ему съедобным, и брал, особо не задумываясь о последствиях, все, что плохо лежало… В школу он не ходил; мечтал поступить, когда подойдет возраст, в какую-нибудь «ремеслуху», где можно будет обходиться одной рукой. Впрочем, своей левой Малява орудовал весьма ловко. И шнурки завязывал, и цигарку крутил, а, главное, отвешивал тяжелые оплеухи нашим обидчикам. Их было много в соседних дворах, в то время, как наш двор после войны оказался весьма беден на мальчишек 10-12 лет.

Малява был на год старше меня и, видимо, потому взял на себя обязанности моего защитника и… учителя. А учил он меня многому. Уж не знаю, хорошему ли, плохому… Учил торговать и меняться с выгодой для себя, учил бесстрашно «брать на голос» физически более сильного противника, а в неравной драке, когда дело становилось плохо стараться «заехать» врагу ногой по причинному месту. Учил тому, что давно уже умели делать тысячи ленинградских мальчишек – устраивать всевозможные игрища с применением капсюлей и патронов.

Потом, несколько десятилетий спустя, когда мне приходилось бывать в доме моего детства, глаза всякий раз

невольно искали и находили на лестничном потолке следы впившихся пуль. Это были наши с Малявой пули, выпущенные в 44-м из винтовочных патронов. Мы снабжали их бумажными стабилизаторами, хлебным мякишем прикрепляли к капсюлю гвоздик и отправляли с третьего этажа вниз, на гранитную плиту. Рисковая это была игра. Но были у нас дела и куда, как рисковее. Во дворе дома №40, где давно уже стоят высокие деревья, сразу после войны – как, впрочем, и до войны – теснились друг к другу кладки неколотых, а чаще и непиленых, дров. Дрова эти в основном были осиновые: тяжелые, сырые, привезенные для жильцов дома грузовым трамваем, – огромные «швырки» для гигантских топок. Чтобы добыть для них нормальные поленья, приходилось трудиться и пилой, и топором действительно в поте лица своего, а потом подолгу растапливать осину в печи с помощью керосина.

Сухие дровишки на растопку мы с Малявой подворовывали в соседних дворах или с баржи на Тучковой набережной. Но однажды мой друг-приятель предложил мне начать извлечение досок из развалин бывшего флигеля. Об этом и сейчас страшно вспоминать… Забравшись со стороны чердака на самый верх стены, мы бегали по ее подставленной небу узенькой кирпичной полоске, стараясь при этом, как настоятельно учил Малява, не останавливаться и не смотреть вниз. Остановка случалась лишь там, где по привалившейся к стене доске надо было спускаться вниз, в груду развалин второго этажа, чтобы выковыривать там всё, что способно гореть. Добычу свою через глазницы окон мы сбрасывали во двор или переулок, а затем по той же доске вновь поднимались на стену, чтобы продолжить поиски топлива.

Потом, когда завалы досок иссякли, а дух добытчика продолжал требовать новых подвигов, мы принялись за разборку выложенного короткими деревянными плахами чердачного перекрытия нашего же пока ещё обитаемого флигеля… Плахи сносили в кладовку малявиной коммуналки. И там же после очередною рейса «чердак – кладовая» были с позором «застуканы» управдомом.

Крик несся по всему переулку. Плахи решили вернуть на место, а нас препроводить в милицию. Но Малява взял всю вину на себя. Он вдруг на полном серьезе возопил, что его, ребенка-инвалида Отечественной войны власти должны снабжать сухими дровами, а не теми, что не поддаются его единственной руке. И, дескать, Виктор всего лишь – тимуровец, взявшийся помочь другу, но помощи от него мало, так как на высоте у Виктора кружится голова…

И вот я узнал, что церковь вновь стала действующей. Что

внутри она пока еще не обрела свой прежний вид, не залечила раны от учиненных над ней истязаний, но в маленьком зале под колокольней проводятся службы и туда можно прийти. Я был там впервые за свою жизнь в июле 1999 года и сделал то, что, наверное, должен был сделать. Я зажег свечу за упокой священника Яворского, человека, под сенью чьего жилища мне суждено было появиться на свет. Тогда же поставил я свечу и за упокой души дружка моего детства, раба Божьего Владимира.

В доме рядом с церковью Святой Екатерины двадцать с лишним лет жил и творил архитектор Иван Фомин. Он покинул этот дом в начале 30-х, когда началась «реконструкция» храма. Можно еще добавить, что здесь, в самом конце Кадетской, на выходе ее к Малой Неве в самом начале века два года жил изобретатель радио Александр Степанович Попов, и что здесь же несколько раньше квартировали архитекторы К. А. Тон и А. К. Бруни, известный, талантливейший художник П. П. Соколов и, по моей версии, в пятом этаже – один из героев романа Достоевского «Преступление и наказание», друг Родиона Раскольникова Разумихин.

Так уж получилось, что, совершая прогулку по Кадетской линии, мы так или иначе касались истории домов и на Первой линии, говорили, правда, достаточно телеграфно о тех, кто жил в них, строил и перестраивал. Но есть здесь дом, мимо которого, как и мимо дома Шуберта, нельзя пройти, не придержав шаг. Сейчас мы подойдем к нему, перейдя у церкви Святой Екатерины с Кадетской линии на Первую.

Это дом №52. Он построен на участке, последовательно принадлежавшем великому Доменико Трезини, Московскому архиерейскому подворью, Российской академии и Римско-католической духовной академии. Последним возводился здесь Христианом Мейером в 40-х годах XIX века ансамбль Римской католической духовной академии. Собственно, Мейер лишь надстроил главный корпус Российской академии, нарастил его крылья, связал пристройками главный фасад с дворовыми флигелями и сделал более сдержанным общий декор здания, созданного, как значится сегодня на памятной доске, в начале XIX века Андреем Михайловым 2-м и Василием Стасовым.

Но давайте обратимся к временам более давним, когда не существовало здесь еще здания Российской академии, а был лишь основанный в 1736 году Ботанический сад. Участок под сад Академия наук арендовала у действительного статского советника Карла фон Бреверна, который получил его в наследство от сподвижника Петра, генерал-аншефа Германа-Иоганна Бона. На Второй линии, 43, ближе к Среднему проспекту, там, где

находится сегодня здание школы, стоял одноэтажный деревянный дом на каменном подвале, который и называли «Боновым домом», «домом Бреверна», а еще – «Ботаническим», так как квартировали в нем профессора ботаники.

Было это в 1730-е годы, а в 40-х поселился в «Боновом доме» и Михаила Васильевич Ломоносов, построивший в 1748 году по соседству с ним первую в России химическую лабораторию.

По соседству, но где именно? С этого вопроса и начинается одна из удивительных историй, произошедших на Первой линии. Начнем с того, что долгое время следов этой лаборатории – весьма оригинального вида сооружения в 14 метров длиной, в 10 шириной и высотой в 4,5 метра – никто не искал. Хотя, кроме того, что была она первой в России, следовало бы учесть, что творил в ней, разгадывая тайны фарфора и секреты цветных стекловидных сплавов – смальт, гений русской науки.

Биограф Ломоносова Б.Н. Мишуткин, опираясь на более ранние свидетельства, утверждал, что Ботанический сад находился при доме генерала Бона, на месте остатков сада Римско-католической духовной академии, то есть на участке дома №52 по Первой линии. Участок этот был впоследствии застроен и лаборатория, дескать, не сохранилась… Эта версия многократно повторялась, пока, уже после Великой Отечественной, в ней не усомнился историк города А. Н. Петров.

С помощью мало в то время кому известного аксонометрического плана Петербурга французского топографа и архитектора Сент-Илера, Петров доказал, что Ботанический сад Академии наук находился все-таки не на территории Римско-католической духовной академии, а на участке соседнего дома №50 по Первой линии.

План Сент-Илера, с необыкновенной дотошностью передающий все строения Петербурга, запечатлел, естественно, и «дом Бона», и Ботанический сад при нем, и дома соседей Ломоносова – среди которых, кстати, был любимец Петра и прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал – и, наконец, саму ломоносовскую лабораторию.

Что касается другого сада, который вверг в ошибку биографов Ломоносова, то он, согласно плану Сент-Илера, тоже существовал и явился продолжением расширенного в 1769 году Ботанического сада. Остатки его и могли видеть на территории Римско-католической академии в середине XIX века.

Петрову повезло. Чтобы окончательно утверждать, что постройка на плане Сент-Илера и есть лаборатория Ломоносова, нужны были планы этой лаборатории. А они – сохранились. Во-первых, существует план «Бонова двора», во-вторых, проект

самого ломоносовского детища, исполненный архитектором И. Шумахером. Осталось совместить их с изображениями Сент-Илера, после чего окончательно стало ясно, где именно следует искать остатки лаборатории.

Когда археологом Виктором Коренцвитом в 1989 году во дворе дома №50 (или дома №43, но уже по Второй линии) на предполагаемом месте искомого объекта были заложены первые разведочные шурфы и они показали, что под слоем асфальта, на глубине 20 сантиметров залегают остатки каменной стены, а контуры находки полностью соответствуют историческим чертежам, можно лишь представить себе тот фурор, который сопровождал это открытие. Для петербургской археологии находка Коренцвита была чем-то вроде раскопанной Трои. Извините меня за подобное сравнение, но оно напрашивается по ассоциации с именем почетного гражданина Петербурга Генриха Шлимана, который целых десять лет в середине XIX века жил в доме №28 на все той же Первой линии.

Теперь, когда окончательно стало ясно, где именно, в какой точке располагались строения на бывшем «Боновом дворе», открылась и их печальная судьба. Оказалось, что надстроенная деревянным этажом ломоносовская лаборатория, превратившись в жилой дом, существовала еще в советское время. Деревянный этаж был разобран на дрова в блокаду, а оставшиеся без кровли стены первого этажа были взорваны лишь в 1944 году. Некоторое время кирпичная кладка еще возвышалась над поверхностью земли, но, несмотря на просьбу Петрова провести консервацию руин, сделано это не было. Здесь появились дровяные сараи, голубятня, а окончательно стерла память о прошлом асфальтированная спортивная площадка.

«Бонов дом», где жил Ломоносов, тоже дотянул до своего двухсотлетия. Затем часть его в середине 30-х была сломана, ну, а в блокаду остатки дома разделили судьбу многих старинных деревянных построек – они сгорели в буржуйках ленинградцев.

Странное, смешанное чувство печали и недоумения охватывает меня всякий раз, когда, пройдя под арку дома №50 с Первой линии, я через дворы приближаюсь к месту недавнего раскопа Коренцвита. На кирпичной стене – не то неряшливая жестяная дощечка, не то бирка: «Здесь была химическая лаборатория М.В. Ломоносова…». И это все. Вся память о том, что было, и весь итог поискам. А где-то в мире пекут для туристов хлеба по шумерским рецептам, на ваших глазах изготавливают египетский папирус, заставляют машину Гутенберга оттискивать визитки. Везде, кроме нас, так и не постигших до сих пор, как, возвеличивая собственное прошлое, можно при этом превращать

в деньги человеческое тщеславие и любопытство. Она ведь должна стоять здесь, маленькая, чем-то похожая на шатер лаборатория с нехитрым очагом и воздуховодом, точная копия той, чьи чертежи сохранило для нас время. И почему бы не возродить в ней изготовление смальт по технологии самого Михаила Васильевича? И почему бы не продавать эти ломоносовские смальты как сувениры? И почему бы не предлагать богатенькому туристу изготовить его портрет из ломоносовских разноцветных мозаик?

Но что толку в этих «почему?» Из них, как принято считать на Руси, кафтана не сошьешь и сыт не будешь. Сразу же, в одночасье…

…Пора завершать нашу несколько затянувшуюся прогулку. Повторяю, что, следуя по Кадетской, я уже рассказал и о большинстве домов Первой линии. Разве что упустил дом №26, где успел пожить перед самой революцией вице-адмирал Российского флота Александр Георгиевич фон Нидермиллер. Участник Русско-японской войны, он был одним из инициаторов строительства храма Христа Спасителя («Спаса на водах») в память о моряках, погибших при Цусиме. Был Нидермиллер и членом правления АО «Русское восточно-азиатское пароходство», а, кроме того, возглавлял в евангелическом обществе один из комитетов под названием «Морской дом», который должен был проявлять заботу о прибывающих в Петербург моряках. В Уставе общества говорилось, что заботы эти состоят «в предоставлении мореходцам дешевых и здоровых помещений, … в приискании занятий на кораблях, … и ограждении мореходцев в нравственном отношении».

Таким и останется в будущем предназначение дома, в котором жил Нидермиллер, – «содействовать», «предоставлять», «приискивать», «ограждать». Правда, уже не для мореходцев. После революции, с 1919 года здесь размещался филиал Василеостровского отделения рабфака Университета. Позднее дом перейдет в ведение городского отдела народного образования, и здесь будет находиться 13-я единая трудовая школа для национальных меньшинств, а затем другие школы, пока в 1974 году здесь не обоснуется университетский факультет журналистики, переехавший сюда с Филологического переулка.

Странным образом дом этот, каким-то боком, касается и моей судьбы. Здесь, во времена женской школы, училась моя первая любовь, а полвека спустя я рассказывал о его первом владельце вице-адмирале Нидермиллере в радиожурнале «Андреевский флаг», который вел несколько лет на Петербургском радио. Я заканчивал отделение журналистики еще до того, как был создан

впоследствии переведенный на Первую линию факультет журналистики. Но вскоре после того, как он переехал сюда, по соседству с домом моего детства, мне предложили быть «почасовиком» на этом факультете…

Я давно уже не преподаю там. И вообще редко прихожу на Первую тревожить себя воспоминаниями. Они очень изменились за последние годы – эти две линии – Кадетская и Первая. Здесь стало больше офисов различных фирм, маленьких магазинчиков. Открылись рестораны, бары, кафе. Их множество. А ведь когда-то, в 60-е, на Первую и Кадетскую было две пивных и одна общепитовская столовая в доме, где некогда шумел знаменитый «Лондон».

Улицы отходят от летаргии. Европейки, немки по своему рождению, они пытаются вернуть себе европейский уклад жизни и даже некий шарм или шик, соседствующий, к сожалению, с нищетой безвременья.

За столиками, под полосатыми тентами неспешно потягивают пиво очень молодые и очень уверенные в себе люди. Два старика, еще не до конца опустившихся и даже аккуратно одетых, стоя чуть в отдалении, вежливо стерегут добычу. Они явно соперничают друг с другом, но при этом, по-джентельменски, не перебегают дорогу сопернику, первым начавшему вкрадчивое движение к освободившейся бутылке…

Мне тоже много лет. Я был молодым тогда же, когда были молодыми и они. И помню еще огромные тополя на Первой. До войны их было много, почти у каждого дома. Потом, уже в 50-е, их оставалось пять или шесть. Потом три. Потом они исчезли совсем.

Мой дед, человек совсем не сентиментальный, даже скорей с насмешливым складом ума, обычно, ведя меня домой из детского сада, останавливался у тополей и поглаживал их кору, словно ласкал: «Ну, как живете, старинушки…»

Я невольно повторяю про себя слова деда, когда после разлуки с островом ноги сами несут меня направо от метро, по Среднему в объятия Первой и Кадетской.

Дворец Петра II и дом Льва Викторовича Голубева прогулка третья

в которой автор приглашает читателей заглянуть в Филологический переулок, чтобы узнать, где жил Александр Федорович Керенский, познакомиться с историей дворца сына царевича Алексея и тайнами, которые этот дворец хранит; а затем посетить на Большом проспекте Васильевского дом, известный многим поколениям василеостровцев, как бывшая библиотека имени Л.Н. Толстого, где однажды и приключилось действо эпатажного характера.

Итак, Филологический переулок. Маленький тупичок между домами № 11 и № 13 по Университетской набережной.

Мы сворачиваем в него недалеко от того места, где в первой половине XVIII века был сооружен через Неву наплавной Исаакиевский мост, получивший свое название от церкви Исаакия Далматского – предтечи Исаакиевского собора.

Кстати, собор остается за нашей спиной почти в створе переулка, который, судя по современным топонимическим справочникам, появился здесь 110 лет назад, хотя значился как безымянный и на более ранних планах Петербурга.

Есть, правда, одна трудность в знакомстве с Филологическим. Сегодня в переулке – стоянка легковых автомашин и, для прохода в него, надо договориться со сторожем, чтобы он отодвинул шлагбаум и придержал свирепого вида овчарку.

Но вот соблюдены все формальности и мы – в столь неожиданном здесь, на парадной набережной, старинном тупичке. Менее чем через двести метров он, оставив справа Ботанический сад Университета, упрется в те самые, принадлежащие ГОИ, Академии тыла и транспорта и еще кому-то «неизвестные земли», о которых я уже упоминал в предыдущих главах.

Стоя в этом, воистину, заповедном тупичке, мы имеем

возможность лицезреть по крайней мере три объекта, над которыми вместе с парами бензина витают и тени прошлого.

Университетская, 13 – приземистое, двухэтажное, с лепниной по фасаду, уже давно пустующее здание Манежа бывшего Кадетского корпуса. По-видимому, Манеж строил в середине XVIII века баумайстер И. Г. Борхард. Он же, уже через 20 лет после смерти светлейшего князя, возводил и восточное крыло Меншиковского дворца. Но Манежем это сооружение было не всегда. Уже после того, как в нем перестали практиковаться кадеты, долгое время, буквально до 1917 года, здесь находилось Главное управление военно-учебных заведений и Архив, потом были другие хозяева. Ныне здание Манежа, по некоторым данным, приобрела под будущий ресторан одна западная фирма, и сейчас там закончен капитальный ремонт.

На этом участке набережной всегда сталкивались противоположные интересы сторон. Так, например, еще в XVIII веке замышлялось приспособить стоящее рядом с Манежем нынешнее здание филфака, не меньше и не больше, как под Конюшенный двор Первого Кадетского корпуса.

Следует особо поговорить о здании филфака на Университетской, 11, потому что в литературе об архитектурных памятниках Петербурга о нем, в сравнении с соседним зданием Двенадцати коллегий, говорится до обидного мало.

А ведь оно разве что чуть младше шедевра Доменико Трезини, и замышлялось появиться на свет по его же чертежам. Оно даже несколько похоже и на центральную часть Меншиковского дворца, и на те же Двенадцать коллегий, а более всего на дом самого Трезини на Университетской, 21, выполненный в стиле петровского барокко.

Тем более, что здание это появилось здесь не случайно и не как довесок к уже существовавшему ансамблю. О его судьбе – и это, по-моему, первая столь подробная публикация – рассказывает Юрий Ендольцев в своем недавно вышедшем в свет нестандартном путеводителе «Санкт-Петербургский государственный Университет».

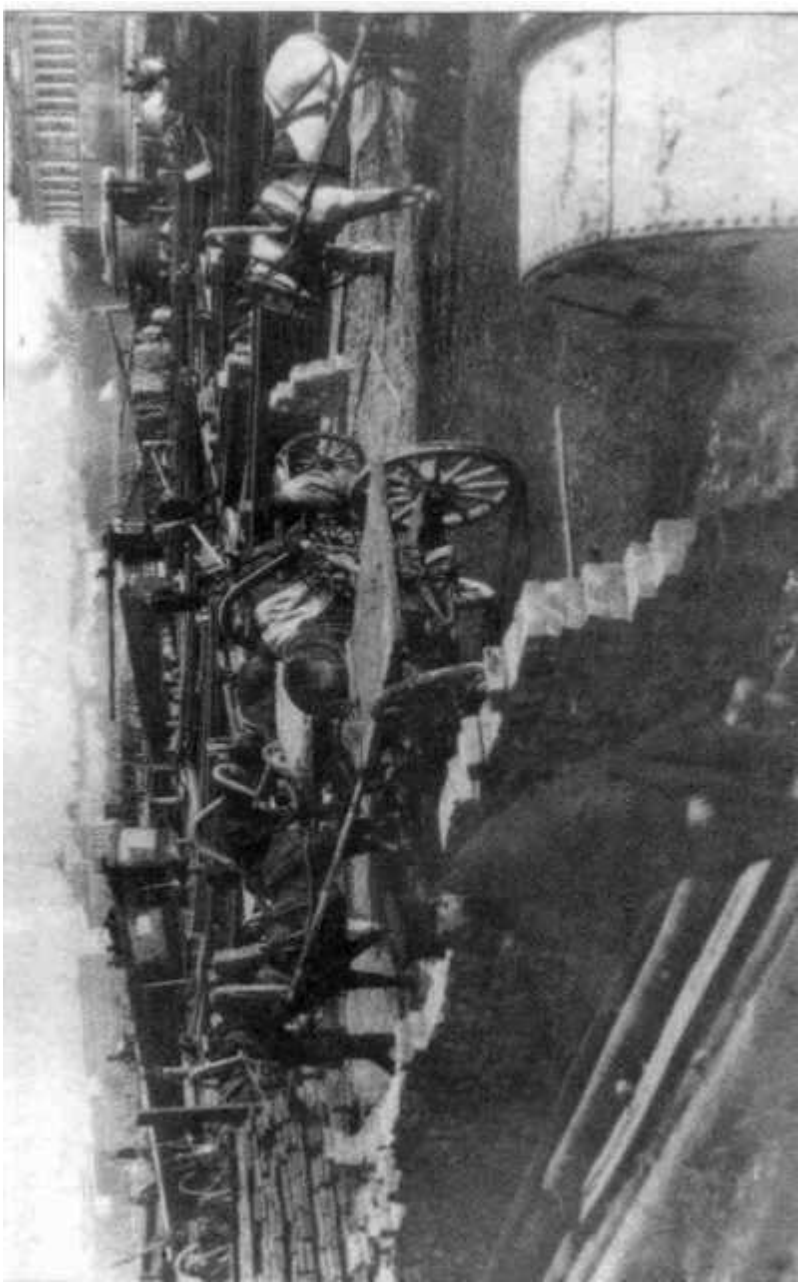
На снимке хорошо узнаваемый дворец Петра II (филфак) и Манеж Кадетского корпуса. Но вот, что за деревянные сооружения подступали тогда к набережной в створе Филологического переулка?

С 1908 по 1916 годы через Неву от Адмиралтейства на Стрелку Васильевского возводится взамен плашкоутного новый, на каменных опорах, Дворцовый мост. Прежний же в 1912-м перенесли ниже по течению Невы, к тому месту, где он и находился когда-то – между Исаакиевской площадью и дворцом Петра II.

Мост, часть которого и видна на снимке, простоял здесь с

1912 по 1916 годы, пока не открылся Дворцовый… (Университетская набережная. 1912 г. Фотограф К. Булла.)

Все начиналось во времена Екатерины I, когда в великой силе был Александр Данилович Меншиков. Ну, а чтобы упрочить свою власть на будущее, он и задумал выдать замуж свою старшую дочь Марию за внука Петра и сына царевича Алексея – будущего государя Петра II. Петр II был еще мальчиком, когда состоялось его обручение с Марией, которая была старше его на три года. Теперь Меншиков, уже как тесть императора, предоставляет ему для жилья свои шикарные палаты на Васильевском. И тогда же за Меншиковским дворцом, вверх но Неве, за церковью Воскресения Христова, рядом с домом «маршалка» (дворецкого) Федора Соловьева был заложен фундамент будущей царской резиденции. И было это, справедливо замечает Ендольцев, не в 1726 году, как можно понять из текста памятной доски на фасаде филфака, а 11 июня 1727 года. На закладке присутствовал и двенадцатилетний император, и автор проекта будущего дворца Доменико Трезини.



Это тоже Университетская набережная, только напротив Соловьевского сада…

Трудно вообразить себе, но на плавном и ныне столь элегантном спуске к Неве еще в 10-х годах XX века велась разгрузка барж, со строительным материалом.

В 30-е годы, на этот спуск выгружали дрова для василеостровцев. Я этого не помню, но по семейному преданию

именно здесь я чуть не оказался о Неве благодаря легкомысленной моей няне Татьяне. Она выпустила меня, завернутого в одеяльце, из рук, когда перебиралась с одного штабеля дров на другой, и бревна вдруг стали уходить из-под ее ног… (Баржи у пристани на Университетской набережной. До 1914 г. Фотограф неизвестен.)

Вот здесь-то и начинаются загадки истории этого здания. Как известно, грандиозные планы Меншикова разрушит сплетенная против него грандиозная интрига; он отправляется в ссылку, где и умирает в 1729 году. В 1728 году Петр II с правительством переезжает в Москву и умирает там в 1730-м. Все это время будущий дворец ни в ширину, ни в высоту не растет. И фактически к его возведению приступит лишь в конце 50-х годов все тот же И.Г. Борхард.

В автобусных экскурсиях по городу можно услышать такую фразу: «Справа здание Двенадцати коллегий – главный корпус Университета, чуть дальше – дворец Петра II, нынешнее здание филфака и восточного факультета». Сказано это, по меньшей мере, некорректно. Петр II не бывал в своем дворце, и разве что видел начало его строительства. Но дворец, скорей похожий на обычный дворянский дом XVIII века – замкнутый четырехугольник с внутренним садом, – почему-то продолжают связывать с именем этого невзлюбившего Петербург мальчика-императора. Нет в нем причин бродить императорской тени. Другие тени, другие обиды толпятся вокруг этого дворца.

Я уже сказал, что появился он рядом с домом Федора Соловьева. Их было трое братьев. Они происходили из крепостных Меншикова; и еще при Петре I, за уклонение от государственных пошлин попали в тюрьму. Дом передали в казну и не возвратили его хозяевам, когда они через два года вернулись из заключения. Дворец при строительстве вобрал в себя дом бывшего крепостного. К временам «маршалка» Федора Соловьева возвращают нас найденные здесь при ремонте 1986 года квадратные кирпичи, остатки изразцов и замурованная в стене деревянная лестница, какой нет нигде больше в городе.

Что было в этом здании за два с половиной века его существования? К 1759 году участок отошел Первому кадетскому корпусу и находился в его ведении до 1857-го, пока здесь, в так называемом «Дворце Петра II», не расположился Императорский историко-филологический институт с гимназией. Он просуществовал до 1918 года и знаменит такими своими выпускниками, как, например, филолог и археолог П.В. Никитин, известный геодезист А.М. Жданов, филологи-классики Ф.Ф. Зелинский и А.М. Малеин.

В конце 1919 года здание занимали Педагогический, а затем

Географо-экономический исследовательский институт и, наконец, с 1930-го до 1937 год – ленинградский институт литературы и истории, а так же сменивший его Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории. Последний имел удобную, звучную аббревиатуру – ЛИФЛИ.

Немногое известно о его выпускниках, среди которых самой яркой фигурой, наверное, была Ольга Берггольц. И опять – стечение судьбы, дающее мне право вести об этом здании и личностный рассказ. Дело в том, что на одном потоке с Ольгой Федоровной учились в ЛИФЛИ мои отец и мать.

Ранней весной 1973 года вместе с Лазарем Маграчевым, собирая материал для пьесы о подвиге ленинградского радио в годы блокады, мы приехали к Ольге Берггольц на ее дачу в Солнечное. Ольга Федоровна чувствовала себя неважно и разговор не клеился. С Лазарем она была на «ты», видимо, еще с тех пор, когда они работали вместе на блокадном радио. «Ты сегодня очень некстати…», – раза два повторила она, обращаясь исключительно к нему. Меня она словно не замечала. И тогда я, чтобы «обозначиться», решился спросить, помнит ли она моих родителей – Бузинова и Степанову, которые учились с ней в ЛИФЛИ. Что-то похожее на тень улыбки скользнуло по бледному и хмурому лицу поэтессы: «Степанову – нет… А Бузинов – ведь это Миша? Он был большим, как медведь…». Потом она поинтересовалась, что случилось с отцом во время войны: «Он что, умер в блокаду?» Я сказал, что отец умер в военном госпитале в Саранске, и я никогда не был на его могиле; а в блокаду здесь оставалась мать, она работала на радио Балтийского завода.

Что-то изменилось в нашей встрече к лучшему. Мне было предложено подсесть поближе, и разговор начался. Берггольц не была на премьере «Второй студии» в театре Ленинского комсомола. Я не знаю, смотрела ли она вообще этот спектакль и видела ли себя в исполнении тогда еще очень похожей на молодую Ольгу Ларисы Малеванной.

И еще одна встреча была у меня с Ольгой Федоровной, когда на втором этаже Союза писателей был выставлен для прощания гроб с телом поэтессы. Об этом печальном дне напоминает хранящаяся в моем архиве квитанция об оплате венка, выписанная в магазине похоронных принадлежностей. Я покупал его от коллектива Радио, а возлагала народная артистка Мария Григорьевна Петрова. Она прослезилась, когда Федор Абрамов сказал у гроба, что с такими людьми, как Ольга Берггольц, надо прощаться не келейно, а всем миром, на главной площади города…

Наверное, последней из выпускников ЛИФЛИ ушла из жизни в начале 90-х моя мать. Незадолго до нее скончался Самуил Самуилович Деркач. Многие годы он преподавал на филфаке русскую литературу и был одним из тех, кого миновали репрессии 30-х годов, но не пощадило «ленинградское дело». Вернулся Деркач в начале 50-х, и я помню, как моя мать писала ему характеристику для восстановления в партию.

Я сдавал ему экзамен где-то в маленькой аудитории правого крыла факультета, где размещалось то, что называли мы «школой», и где за два века до этого находился дворец опального «маршалка» Соловьева… Из трех вопросов билета я по-настоящему знал один, второй – «так себе», а третий – не знал вовсе. Стыдясь и робея, я подошел к столику, над которым возвышалась фигура Деркача. Длинными, сухими пальцами он теребил мой билет, но, даже не заглянув в него, попросил рассказать то, о чем бы я хотел рассказать. Некоторое время он слушал меня, а потом сказал, что мой голос и манера говорить похожи на отцовские. И поинтересовался: почему я перешел на филфак, ведь, дескать, Лика, то есть моя мать, говорила ему, что я учился поначалу на географическом.

Уже не помню, что я сказал ему. Наверное, какую-нибудь чушь о своей якобы с младых ногтей любви к литературе. Но осталось тогда, как и годы спустя, после разговора с Ольгой Федоровной, то удивительное, возникшее во мне, ощущение некой сыновней причастности к времени, которое ушло безвозвратно, и о котором я неожиданно напомнил кому-то самим фактом своего существования. Он был очень добрый человек, Самуил Самуилович.

А сейчас – несколько слов о самом филфаке поры моей юности. Я учился здесь в 50-е годы и при мне филфак отмечал свое двадцатилетие. Он поселился в этом здании вслед за ЛИФЛИ и раньше на семь лет, чем его сосед – факультет восточных языков.

В пятидесятые здесь преподавали В.А. Мануйлов, Г. А. Бялый, В. Е. Балахонов, Т. А. Ивановская, Г. П. Макогоненко, Е. И. Наумов, В. Я. Пропп. Нет надобности говорить, что это была за «королевская рать».

Почти в одно и то же время со мной на филфаке учились Александр Панченко, Яков Гордин, Майя Борисова, Илья Фоняков, Владимир Уфлянд, Сергей Кулле, Михаил Еремин и Валентин Горшков, стихи которого пользовались особой популярностью в те годы. Моими однокурсниками по отделению журналистики были будущий профессор одного из престижных американских колледжей поэт и эссеист Лев Лившиц (Лосев),

главный редактор Ленинградской студии кинохроники, ныне покойный Михаил Мильман, нынешний редактор журнала «Аврора» Эдуард Шевелев, будущие преподаватели Университета Дмитрий Барабохин, Валентин Талонов, Владимир Осинский. Были среди моих однокурсников Борис Моисеев – журналист, ставший впоследствии депутатом Государственной Думы, литератор и историк города Александр Шарымов, публицист Алексей Самойлов, несколько собкоров столичных газет и даже будущий чемпион мира по шахматам Борис Спасский.

Мы учились в очень любопытное время, о котором теперь много говорится, как о времени «шестидесятников». Я не берусь писать, – все по той же причине «поспешания», – о быте, нравах и общей атмосфере филфака той поры. Это фундаментально могут сделать и названные мною здравствующие однокурсники. Но право же, трудно написать о филфаке что-нибудь выдающееся и, главное, не занудное после «Филиала» Сергея Довлатова.

…Но продолжим путешествие по Филологическому переулку. Справа в самой глубине этого тупичка под № 3 стоит четырехэтажный дом, выполненный по совместному проекту Леонтия Бенуа и Роберта Гедике. Дом появился здесь в 1882 году как Александровская коллегия – общежитие имени Александра II для студентов С.-Петербургского Императорского Университета.

Сегодня невозможно войти в это здание через парадный вход со стороны Филологического переулка. Туда попадают с тыла, из глубин университетских дворов. А жаль. Здание заслуживает того, чтобы его лицезрели с фасада. Именно фасад Александровской коллегии, стилизованный под Трезини, невзирая на общее запустение, и сегодня выглядит достаточно привлекательно.

Многие известные выпускники Университета предавались здесь послелекционным трудам и забавам. Здесь проживал, например, будучи студентом юрфака, приехавший в Петербург из Симбирска будущий премьер Временного правительства России Александр Федорович Керенский. Вот как пишет он об Александровской коллегии в своей, опубликованной у нас в 1993 году, книге мемуаров: «… достоинством общежития было его расположение. Здание общежития стояло в самом начале улицы ведущей к набережной Невы. Красота набережной не переставала восхищать меня…». Из сказанного Александром Федоровичем, кстати, становится ясным и то, что Филологический переулок уже в начале XX века был таким же, как и теперь, и здание, где проживал Керенский таилось в глубине тупика.

Сегодня в бывшем общежитии – издательство Университета, его хозяйственные и финансовые службы. В дни выдачи

профессорских зарплат и студенческих стипендий оно всякий раз оживляется у окошечек касс, как внезапно разбуженный улей…

Ну а теперь самое время покинуть Филологический переулок и проследовать уже известным вам и исхоженным мной тысячекратно маршрутом по Университетской набережной мимо Манежа Кадетского корпуса и Меншиковского дворца к Первой линии. Мы перейдем на нее с угла Кадетской, у оставшейся последней здесь, теперь сиротливо выглядывающей из газона чугунной тумбы и старинных солнечных часов на фасаде дворца.

О часах этих писала Анна Ахматова: «Cadran solaire на Меншиковом доме…», при этом допуская маленькую неточность, ведь солнечные часы устанавливались не на Меншиковском дворце, а на торце Кадетского корпуса.

Прошествовав мимо зданий, о которых говорилось в предыдущих главах, мы свернем на Большой проспект и, не пройдя по нему и ста метров, остановимся у дома №10.

Последним до революции владельцем этого дома был Лев Викторович Голубев. Он достался ему в наследство от отца, известного в России промышленника, землевладельца, строителя железных дорог и заводов Виктора Федоровича Голубева.

Прекрасный четырехэтажный особняк, пожалуй, одна из лучших миниатюрных построек Роберта Гедике, – уже упоминавшегося нами одного из авторов «Александровской коллегии», – был куплен В.Ф. Голубевым в 1900 году у жены представителя вагонного завода «Феникс», австро-венгерского подданого Оскара Ивановича Фрейвирта, который в свою очередь приобрел его у купца 1-й гильдии, василеостровского немца Адольфа Юнкера, первого владельца этого дома.

Лев Викторович был человеком весьма образованным. Камергер дворца его императорского величества, он имел дипломы Рейнского Университета, Королевской Прусской земледельческой Академии, Королевского высшего земледельческого училища, считался знатоком сельского хозяйства, о чем говорит и факт его членства в Императорском Российском обществе плодоводства и во Всероссийской сельскохозяйственной палате.

Будучи обладателем солидного капитала, вел Лев Викторович, подобно своему отцу, и широкую благотворительную деятельность. Объектами его пожертвований были, в основном, больницы, народные училища, школы. Его увлекали идеи всеобщей на Руси грамотности. Сам он много читал, интересовался искусством, был заядлым театралом, а еще имел очень созвучное началу века «хобби» – вместе со своей женой Александрой Степановной состоял в Императорском

Всероссийском аэроклубе. Вообще же семья Голубевых была семьей российских патриотов. Причем не на словах, а на деле. Они помногу и часто жертвовал и на государственные нужды. «Быть точным в своих обязанностях перед Родиной» – было их девизом. И это особенно заметно проявилось в годы войн: Русско-японской и Первой мировой.

Об Александре Степановне Голубевой следует сказать особо. Она была дочерью известного вице-адмирала, героя и жертвы Русско-японской войны Степана Осиповича Макарова.

В этом доме на Большом проспекте рос внук Степана Осиповича, Вадим, названный так в честь своего дяди – сына адмирала. Здесь, в одной из комнат особняка находился бронзовый бюст Макарова работы немецкого скульптора Шлейфера. Этот свадебный подарок Голубева Александре Степановне стоял здесь долго, пока в 1929 году не поступил в Русский музей. Здесь, в особняке, часто бывала вдова адмирала и его сын – Вадим Степанович. Сюда, по адресу Большой, 10 присылал он свои письма, когда какое-то время служил на крейсере «Адмирал Макаров».

Все, кому дорог образ знаменитого и горячо любимого в народе адмирала, кого интересует его флотоводческая и научная деятельность, должны сказать слова благодарности автору книги «Дома Голубевых» Марине Полевой. Она, пожалуй, как никто другой, даже из тех, кто занимался специально биографией адмирала, приоткрыла нам историю его родственных связей, судьбу прямых потомков. Вот что пишет она: «А.С. Голубева с сыном Вадимом Голубевым (внуком адмирала. – В.Б.) и матерью Капитолиной Николаевной жили во Франции, возможно в Ницце. В воспоминаниях М. Кшесинской есть упоминание о ней. Сын адмирала В.С. Макаров во время гражданской войны был начальником 1-го дивизиона артиллерии белой флотилии Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака. Затем он жил в Америке, куда, очевидно, переехали его мать и сестра. В США В. Макаров издал книгу о своем отце… Как сложилась судьба внука адмирала Макарова – Вадима – неизвестно».

Неизвестной пока остается и судьба зятя Макарова – Льва Викторовича Голубева. Его следы теряются весной 1918 года. Зато известна судьба матери братьев Голубевых – Анны Петровны. Ее выселили из особняка и свой век доживала она во дворовом флигеле на попечении младшего внука Ивана Викторовича Голубева, торговавшего папиросами и подрабатывавшего сторожем.

Осенью 1918 года в особняке Голубевых открылась библиотека, впоследствии получившая имя Льва Николаевича

Толстого. Тогда же у дома стал на время и другой адрес – проспект Пролетарской Победы, 10.

Основателем библиотеки был выпускник и преподаватель уже упомянутого мною Императорского историко-филологического института А.М. Ловягин. Конечно же, создавалась библиотека не на пустом месте. В ее основу легло богатейшее книжное собрание камергера Голубева. Правда, уже в конце 20-х годов библиотека подверглась первой чистке. Неугодные, вредные для «пролетарской победы» книги сносились во двор Андреевского собора и там под дождем и снегом, в ожидании окончательного приговора, возвышались горой.

Многие поколения василеостровцев помнят эту библиотеку. Она – одна из немногих, которые продолжали работать и в годы блокады. Бывало, что в нетопленом читальном зале собиралось по 20-30 человек. Спрашивали в основном литературу об историческом прошлом Родины, а когда в 43-м в городе занялись огородничеством, проснулся интерес к всевозможным сельскохозяйственным брошюрам. Библиотека обслуживала госпитали, ее сотрудники выступали с лекциями в воинских частях. Одним словом, выполнялся некогда царствовавший в этом доме девиз: быть полезным своей Родине.

Я помню эту библиотеку еще до войны. Мне лет шесть и я уже научился читать. Но книги выбирает для меня отец. Он стоит перед деревянным барьером и о чем-то переговаривается с седой тетенькой в больших очках, в то время как я отчаянно корчу рожи перед огромным зеркалом при входе в зал…

Уже в юности я обратил внимание на внутреннее убранство библиотеки, на ее наборные паркеты, на двери из карельской березы, лепной потолок, старинные дубовые шкафы и огромный стол, вокруг которого рассаживались посетители читального зала. Однажды поинтересовался у библиотекарей: что здесь было когда-то? И услышал, что владел этим домом богатый буржуин, а внутренней отделкой дома по заказу буржуина занимался не кто иной, как будущий великий архитектор Иван Александрович Фомин. Все сказанное о Фомине, как я проверил впоследствии, оказалось сущей правдой.

В этих некогда оформленных Фоминым интерьерах, собственно, я и пристрастился к чтению довольно серьезных книжек. Библиотеки у нас с матерью не было; книги, которые годами собирал отец, сгорели в блокадной печке, а новыми мы еще не успели разжиться. Мне нравилось проводить здесь вечера: в двух шагах от собственного дома, в уюте, тепле и мягком свете настольных ламп. Кстати, домой мне книги одно время не выдавались по причине утери «Опытов» Монтеня, а за столом

читать разрешалось, к чему я постепенно, видимо, и привык. Здесь же, не пройдя из-за слабых легких отбор на океанографию, которой я мечтал заняться, поступив на географический факультет Университета, стал готовить себя к будущности филолога, к экзаменам, которые мне вновь предстояло держать. Я еще не знал, что моих баллов, набранных два года назад при поступлении на геофак, окажется вполне достаточно для перевода на отделение журналистики филфака. Особенно, если при этом будут газетные публикации. А они, слава богу, уже были.

Правда, публикации эти, а может быть, печатные органы, в которых они появлялись, не очень-то нравились моему тогдашнему приятелю, будущему большому, а тогда начинающему поэту Глебу Горбовскому. «Смена» – тьфу! – любил повторять юный Глеб Яковлевич. Он шаркал при этом подметкой по тротуару, как если бы растирал плевок, и добавлял еще кое-какие слова. Впрочем, как я подозревал, сам он был не прочь напечататься на страницах этой самой «Смены».

С Глебом и связано одно мое необычное, скандальное посещение библиотеки Льва Толстого.

О нем он вспомнит многие годы спустя в своих заметках литератора «Остывшие следы». «Тогдашнее наше шествие с Бузиновым по Большому проспекту, – пишет Горбовский, – обращало на себя внимание прохожих. Причиной проявленного интереса послужили наши эпатирующие наряды, в которые мы облачились в тот день. Во-первых, яркие женские шляпы. Старомодные, из довоенных материнских залежей. Шляпы с вуалетками, перьями и огромными полями! В своей шляпе я проделал отверстие и выпустил наружу залихватский клок волос. На спинах у нас алели бубновые тузы, нашитые на жилет и кофту опять же – не из нашего с Бузиновым молодежного гардероба. На штанах – вызывающие заплаты, которых в послевоенные, отнюдь не джинсово-хипповые годы почему-то все жутко стеснялись. В таком виде, держась на людях, как можно невозмутимее, заявились мы в библиотеку имени Льва Толстого. И потребовали выдать „Дневник писателя“ Достоевского, чем еще больше повергли своих зрителей в уныние и трепет, ибо „Дневник писателя“ слыл тогда чуть ли не запрещенной книгой. Получив отказ, мы запросили брошюру критика Ермилова „Достоевский – мракобес и реакционер“, которую предусмотрительно взяли из дома и держали до поры до времени за пазухой.

Получив из рук молоденькой библиотекарши брошюрку (а надо сказать, что в библиотеке я был записан давно), мы откровенно накинулись на сию жалкую книжонку и с диким

рычанием на глазах изумленной публики разорвали ее на мелкие клочки. Дело подходило к вызову милиции, когда из-под полы кофты была извлечена копия и мы, извинившись за причиненное беспокойство, покинули заведение…»

Здесь я прерву затянувшуюся цитату. Надо сказать, что, если подходить ко всему сообщенному Глебом Яковлевичем с позиции рассказа Акутагавы «Ворота Расемон», то я оставляю за собой право обозревать место преступления собственным оком. Не помню я про Ермилова. Про шляпы и тузы на жилетках помню, а вот про Ермилова запамятовал. По-моему, ретировались мы из библиотеки, не разрывая на клочки никаких брошюр. Был эпатаж – это да! Маленькие Франсуа Вийоны, рано ставшие баловаться вином и жаждущие острых ощущений, мы порой просто искали публичных скандалов и находили их. Тем более, было это через год после смерти Сталина, и гены страха уже давали сбой, переставали работать в режиме самосохранения…

Боюсь скуки, боюсь скуки…
Я от скуки могу убить.
Я от скуки податливей суки
Бомбу в руки – стану бомбить!

Это Глеб тех далеких лет. Я люблю его, может быть, больше всех других поэтов. Он мой, родной, василеостровский.

Пройдут годы, и библиотека имени Льва Толстого переедет на Шестую линию в дом № 17. А в ее бывших апартаментах на Большом откроется консульство ГДР, которое еще годы спустя сменит Дом немецкой экономики и представительство Гамбургской торговой палаты.

По занимаемой на петербургском радио должности когда-то я имел право «выходить на паркет», то есть посещать, естественно, по приглашению, приемы и пресс-конференции в консульствах стран социалистического содружества. Я был хорошо знаком с консулом ГДР Хайнцем Бауэром. Обычно, после третьей под красную рыбку, когда общество у стола начинало кучковаться и травить анекдоты, я, прижавшись спиной к кафельной печи, вкрадчиво обращался к консулу со своим фирменным разговором. Это был отработанный номер. Речь шла о первом владельце этого дома, купце первой гильдии, василеостровском немце Адольфе Фридрихе Юнкере и создателе особняка, талантливом архитекторе, тоже немце по происхождению, Роберте Гедике. О купце я всегда врал напропалую, так как не знал ничего, кроме его имени. О Гедике же зато блистал почерпнутыми из какой-то книжки сведениями. Вежливый, круглый, как колобок, консул

слушал или делал вид, что слушает меня. В эти минуты он был похож на кота, проглотившего вкусную мышь.

Я говорил и видел, как в зеркале напротив меня возникают то крошечное личико делающего гримасы мальчика, то лик тощего вида юноши в шляпке с пером и жилетке с бубновым тузом на спине.

Я болтал и улыбался своей болтовне…

Василеостровские сады
Прогулка четвертая

в которой автор предлагает читателям пройтись по бульварам Большого проспекта, узнать историю Румяниевского сквера и садика при Академии художеств, побывать на месте бывшего Ботанического сада, и убедиться в том, что когда-то было на Васильевском острове множество частных садов, следы которых можно встретить и по сию пору.

По сведениям, которые приводят член городской Управы И. П. Медведев и городской садовник В.И. Визе в своей книге «Описание древесных насаждений С.-Петербурга», изданной в 1907 году, в городе в начале века было в общественном пользовании «садов, скверов и бульваров числом 62». Занимали они площадь всего в 345 550 квадратных саженей (или около 1037 кв. метров), в то время как под парками островов и садами разных лиц и учреждений, представляющих свои зеленые владения для посещении петербуржцами, находилось 1 082 000 квадратных саженей земли, а в сугубо частном владении, закрытом для публики, числилось 1 594 000 квадратных саженей.

Все вместе сады, парки, бульвары покрывали свыше 15 процентов территории города. При этом с одной десятины озеленений дышало 1130 человек, что считалось весьма посредственным показателем, так как, скажем, в Бостоне в те же годы на одну десятину земли приходилось 90 человек, а в Вене – 366.

Если сравнить Петербург начала XX века с Питером сегодняшним, то, конечно же, он сильно прибавил в своем зеленом устройстве. Сегодня на каждого горожанина приходится свыше 50 квадратных метров насаждений, и сам город, с его более чем восемьюстами парками, садами и скверами, является одним из самых озелененных городов России.

Это то, что касается города в целом. Ну а с Васильевским островом, как всегда, в силу странности его судьбы и вечной не завершенности замыслов, все обстоит несколько по-особому. Нет, конечно же, за последних девяносто лет он приобрел новые сады и новые бульвары. Но приобрел в западной и северо-западной

своей части, там, где велось новое строительство, уничтожались свалки и пыльные пустыри. Сыграла здесь свою роль и прошедшая война. Например, деревянные, разобранные на дрова, дома в Гавани, как, впрочем, и некоторые из разрушенных каменных, уже не восстанавливались, а их место занимали скверы.

Наибольшую известность имеют сегодня на Васильевском бульвары Большого проспекта, объединившие некогда целую череду частных садов. Сад «Василеостровец», Опочининский и Шкиперский сады, сад за Дворцом культуры имени Кирова, зеленая зона комплекса «Ленэкспо» – все это на западе и северо-западе острова, – и невеликие, но с любопытной историей сады той части острова, с которой, собственно, и стал обживаться Васильевский.

Я назову их. Это Румянцевский сад или сквер, отрезок бульваров Большого проспекта, сад при Академии художеств, сквер на Биржевой площади и, наконец, сад при церкви Благовещения на Малом проспекте между Седьмой и Восьмой линиями. Как бы это ни казалось странным, но именно эта густонаселенная часть Васильевского в течение двух с половиной веков не столько приобретала, сколько теряла свои сады.

В прогулке по Кадетской линии я уже рассказывал о печальной судьбе некогда огромного Меншиковского сада или, как он стал называться позже, Кадетского. Сад этот был фактически ровесником Летнего сада, заложенного в 1704 году, через год после основания Петербурга, и соперничал с ним в своем великолепии. Последние деревья Кадетского сада, повторяю, были спилены на дрова уже при Советской власти, в начале 20-х годов.

В какой-то степени продолжателем славы Меншиковского сада стал Ботанический сад Императорской Академии Наук, разбитый на участке, специально для этого приобретенном. Вообще в Императорских садах можно было появляться только с особого на то разрешения. Их показывали знатным иностранцам. Только при Елизавете Петровне сады эти, в частности I и II Летний, стали доступными для публики в праздничные дни с обязательством быть при этом «в пристойных одеждах». Но, по-видимому, сии строгости не касались Ботанического сада на Васильевском. Во-первых, создавался он не столько для посетителей, сколько для научной работы. При саде был штат профессоров-ботаников, которые и жили в «Боновом доме». А во-вторых, показывать здесь поначалу было особенно нечего.

Автор книги «Старый Петербург» (Садоводство и цветоводство в Петербурге в XVIII веке) П.Н. Столпянский

приводит текст длинного объявления, которое появилось в «С-Петербургских ведомостях» в 1740 году. В объявлении приводится перечень необходимых для Ботанического сада материалов, в том числе и гонт для покрытия крыши дома, купленного еще в 1735 году. Оказывается, целых пять лет осваивала Академия приобретенное имущество, да так по недостатку средств и не освоила его.

В Ботаническом саду – в это трудно поверить – сначала не было даже оранжереи, и Академия решила пользоваться одной из оранжерей сада Кадетского корпуса, благо он был по соседству. Но к 1747 году оранжереи полностью износились, содержать растения в них стало невозможно, и Академия просит у Сената выделить ей денег на строительство новых, уже своих оранжерей. Финансовые переговоры тянутся до 1752 года, когда, наконец, деньги были найдены и принято решение: «сделать новую оранжерею, длиною на двадцать одну и шириной на две сажени». Через пять лет все опять приходит в негодность, требуется ремонт, который, кажется, так и не был сделан, но зато в 1759 году было возбуждено дело о постройке новой каменной оранжереи.

Словом, так все и шло, пока в конце царствования Екатерины II Ботанический сад не перенесли с Васильевского на Фонтанку. Впрочем, об успехах ботанической науки той поры, о том, как выглядел впоследствии сад, какими растениями располагал, видимо, написано предостаточно, хотя к нашему разговору это отношения не имеет.

О Ботаническом на Васильевском сегодня напоминают лишь несколько деревьев во дворе дома №52 по Первой линии, где когда-то был смыкавшийся с ним сад Римско-католической духовной академии.

Это, пожалуй, и все, что сохранилось от садов первой половины XVIII века. А было здесь их немало. Правда, все они принадлежали тогда частным владельцам.

Частные сады – это, вообще, особая страница истории Петербурга. Автор все той же книги «Старый Петербург» (Садоводство и цветоводство в Петербурге в XVIII веке) П.Н. Столпянский в своем предисловии к ней пишет: «Должен признаться, что когда я впервые систематизировал сведения о петербургских садах XVIII века, мне самому показались они чересчур фантастическими. На основании этих сведений, выходило, что Петербург был царством садов, что это был тот город грядущего будущего, о котором в настоящее время (1913 г. – В.Б.) ведутся лишь одни разговоры».

Столпянский пользовался газетными объявлениями о

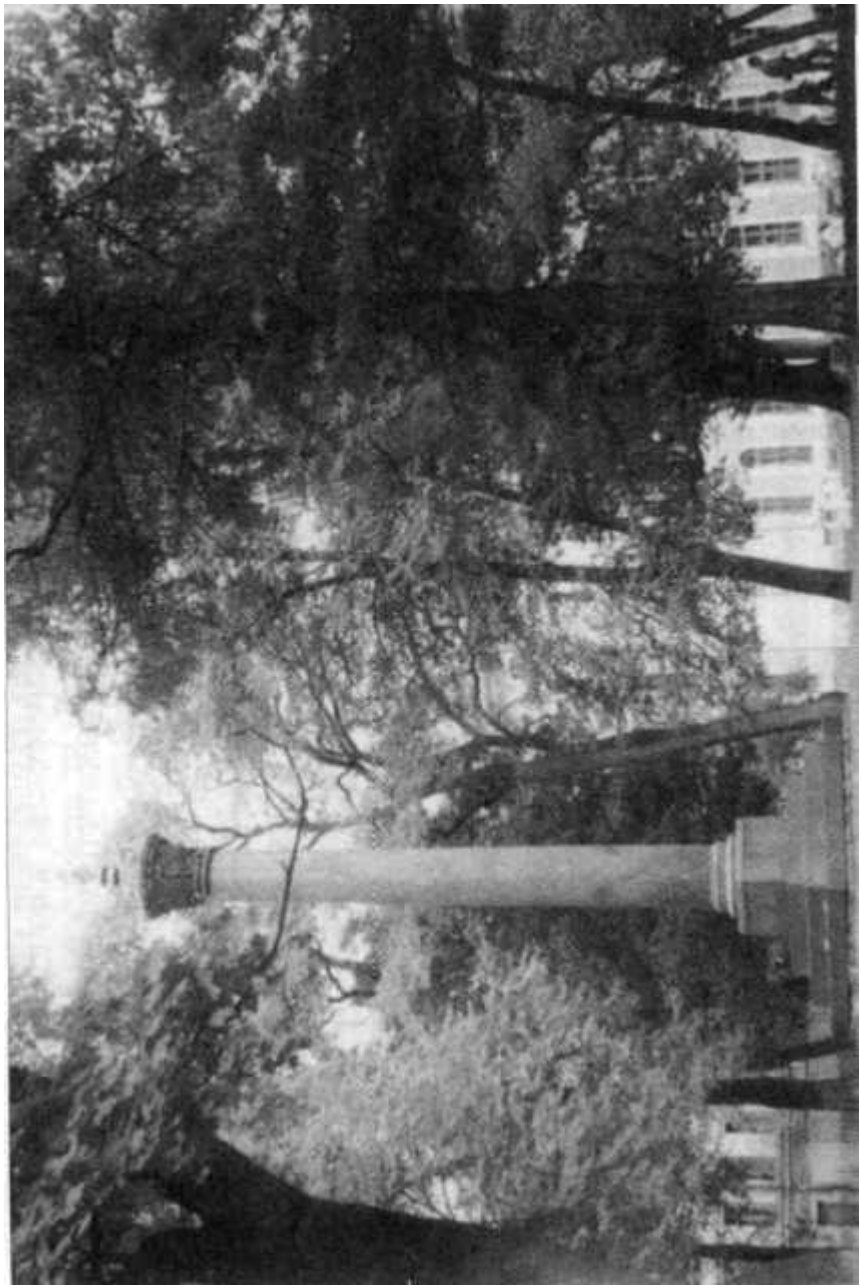
продаже частных садов, и объявления эти с подробным перечнем фруктовых деревьев окончательно убедили его в истинности подобного вывода.

К сожалению, на Васильевский, из-за все той же медлительности в его застройке, культура частного сада пришла несколько позже, чем в другие районы города. Сначала сады на Васильевском были невелики по размерам и напоминали сад на Четвертой линии вдовы Марфы Струниной, у которой, судя по сохранившемуся описанию, «было 9 яблонь, две рябины, крыжевника куст, смородины 4 куста, да гряда малины».

По-настоящему частное садоводство стало развиваться на острове лишь в 60-е годы XVIII века и достигло апогея к 90-м годам. Причем, как утверждает Столпянский, большинство садов здесь принадлежало садовникам-иностранцам или держалось ими в аренде. Но были на острове и русские умельцы.

Вот что сообщалось в одной из газет тех лет:

«Из неторговых садов можно указать на сад советника Семена Деденева с огородом и прудом с рыбой, на Второй линии за Малой першпективой и дом Михаила Васильевича Бакунина на Двадцать второй линии с оранжереей, регулярным садом, в котором множество лучших испанских вишен и других плодов, а также пруд с карасями».



Колонна в память 50-летия основания Академии Художеств в Академическом саду. 2002 г.

Кстати, о прудах. Сегодня вы не встретите их ни в одном василеостровском дворике. Правда, быть может, я чего-то не знаю. Рыбные пруды засыпаны еще в конце XIX века. Но иногда они напоминают о себе, отзываясь на проносящийся мимо трамвай особым содроганием заполнившей водоем почвы. Это происходит, например, во дворе дома №24 по Девятой линии.

Когда-то здесь в 30-х годах XIX века были палисадники и рыбный пруд. И здесь же в деревянном двухэтажном домике жила Анна Петровна Керн. Существует легенда, что, отыскивая её квартиру, вокруг этого пруда бегал Александр Сергеевич Пушкин. Но это уже рассказ для другой прогулки, которую совершим мы несколько позже.

А сейчас, завершая разговор о частных садах Васильевского, я хотел бы посоветовать вам самим поискать на досуге их отзвуки, их продолжения, чудом сохранившиеся до наших дней. На это еще обратила внимание петербургская поэтесса и архитектор Валентина Лелина. В книге «Мой Петербург» она пишет: «Василеостровские дворы немного провинциальны. И в этом тоже тайна течения времени во дворах. Заросли сирени, цветущие по весне яблони – это остатки палисадников и даже садов…»

Недавно я был в одном из таких дворов на Шестой линии. Это двор дома №17. Но не первый, по-моему, а третий двор. Там есть крошечный, буквально микроскопический клочок очень старого, уже умирающего палисада, а из-за подступившей к нему древней ограды видны деревья, что еще растут на месте сада Ларинской гимназии…

Валентина Лелина показывала мне остатки усадьбы особняка архитектора Гарольда Боссе. Это Четвертая линия, дом № 15. Особняк сохранил свой облик глядящего в сад барского дома. Пологие спуски ведут с полукруглой ротонды к некогда существовавшим здесь строго начертанным дорожкам. Но это уже давно пути в никуда. Была ранняя весна. И над еще не проснувшимися черными стволами редких деревьев звучал по былому саду неистовый вороний реквием…

Можно ли возродить то, что было когда-то? Вернуть в пустынные дворы таинство ухоженного, вскормленного обшей любовью, маленького городского сада? Наверное, можно. И это делает кто-то неумело, без знаний и опыта, на свой страх и риск. А между тем искусство разбивать и пестовать сад – древнее и сложное искусство. Оно сродни искусству врачевания души. И не имеет ничего общего с тем тотальным озеленением, которым мы так гордились многие годы.

Из самых старых садов Васильевского жив по сию пору сад Академии художеств, потаённый, изящный, воистину «классический» садик, где должны прохаживаться и творить жрецы искусства.

По одной версии, он появился здесь, видимо, сразу после того, как в 1788 году завершилось строительство существующей ныне Академии художеств. По другой – гораздо раньше. Еще тогда, когда существовала первая Академия художеств,

основанная в 1757 году Елизаветой Петровной. В этом квартале набережной была Морская аптека и дом Головкина, в котором и приступили к занятиям ученики Академии. В глубине квартала стояли в садах несколько деревянных домиков. У Головкинского дома тоже был сад, где и практиковались с этюдниками будущие художники. Само строительство учрежденной во второй раз уже при Екатерине II Академии началось в 1764 году именно со стороны сада, что подтверждает и план не раз уже упомянутого нами Сент-Илера.

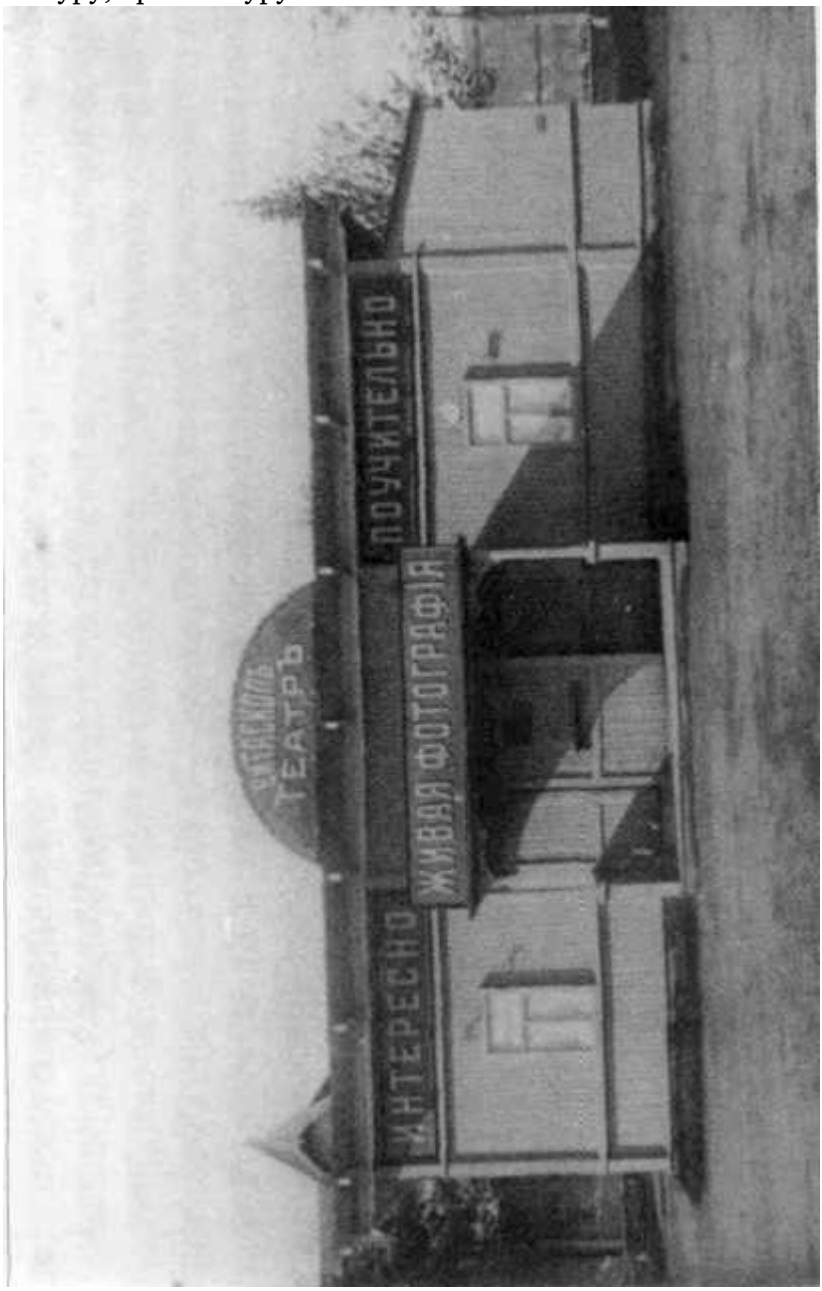
Как бы там ни было, но свой нынешний облик сад приобрел уже в веке XIX. Первым, кто обратил на сад внимание, проявил к нему особый интерес, был президент Академии художеств А.Н. Оленин. Он предложил построить по его периметру четыре портика, напоминающие архитектуру Древнего Египта, Древней Греции, Персии и Рима. По замыслу Оленина с помощью этих наглядных образцов ученики, «гуляя по садовому месту и рассматривая сей образец», должны были лучше постигать культурное наследство прошлого. Но идея эта так и не была реализована. Хотя за ее воплощение брался сам Александр Павлович Брюллов. Он даже выполнил задумку Оленина в чертежах, но, увы, чертежи не получили одобрения.

Зато именно от Брюллова осталась нам планировка сада. Он разбил дорожки, спроектировал ограду и в 1847 году на перекрестке двух центральных аллей установил гранитную колонну.

Происхождение ее весьма любопытно. Оказывается, этот гранитный монумент – не что иное, как запасная колонна для интерьера Казанского собора. Ее высекали на случай если, не дай бог, что-то произойдете другими колоннами: треснут ли они или расколются при неосторожной установке. Но все обошлось благополучно, и Александр Воронихин, по проекту которого, как известно, строился Казанский собор, передал лишнюю колонну Академии с тем, чтобы ее установили там, в круглом дворе, в честь пятидесятилетия этого храма искусств. В круглом дворе монолит простоял с 1807 по 1817-й год, а затем был заменен на гипсовую модель памятника Минину и Пожарскому. Три десятилетия колонна оставалась не у дел, пока в 1847 году Александр Брюллов не нашел ей достойного применения в Академическом саду.

Архитектор с помощью модельера А.П. Лялина несколько изменил её внешний вид. Теперь колонну венчал не шар, как это было у Воронихина, а символ искусств – лира. Римско-ионическую гранитную капитель заменила капитель бронзовая. Филигранный рельеф состоит из трех аллегорических женских

фигур, олицетворяющих знатнейшие художества: живопись, скульптуру, архитектуру.



Павильон живой фотографии в Василеостровском саду. (Недалеко от нынешнего дворца культуры им. С. М. Кирова. 1900 г.)

Вообще, саду повезло на причастность к нему знаменитостей. С юга в него заглядывает своими высокими окнами прекрасное творение Кокоринова и Валлена-Деламота. С севера на лужайку

выступает представительный шестиколонный дорический портик работы Михайлова 2-го. Он украшает здание рисовальных классов, к торцам которого пристроены по Третьей линии, «профессорский флигель», произведение всё того же Брюллова, а по Четвертой – бывший литейный корпус, возведенный здесь для Академии строителем Адмиралтейства Андрианом Захаровым.

Здесь, в литейном корпусе когда-то были отлиты самые знаменитые статуи Петербурга: Крылов – в Летнем саду, «Клодтовские кони» – на Аничковой мосту, Кутузов и Барклай-де Толли – у Казанского собора. На отливку публика собиралась, как на театральное действо. Впрочем, и самые знаменитые питерские мозаики, в частности, для Исаакиевского собора, создавались тоже здесь, на восточной окраине сада, в мастерских, построенных для Академии Федором Эппингером.

Они работают и сейчас. Иногда, когда появляется хоть небольшой заказ. А ведь здесь способны были варить смальту чуть ли не восемнадцати тысяч оттенков.

Но мы, кажется, несколько ушли в сторону. Давайте, – о самом саде. Его судьба своеобразна, но при этом несколько обделена вниманием к себе. Старейший – на Васильевском, он таится в тени знаменитого на весь мир фасада Академии художеств. Как правило, сад обходят стороной туристы, да и в краеведческих справочниках ему посвящено, в лучшем случае, несколько строчек. Внятно история сада изложена лишь в последнем издании книги В.Г. Лисовского «Академия художеств». Но это уже, так сказать, литература «для искушенных».

В последний раз я был здесь прекрасным июньским днем. Лучи солнца пробивали листву старых деревьев и высвечивали яркими пятнами зелень газона. У портика рисовальных классов толпилось множество детских колясок, а их хозяйки – юные василеостровские мадонны, встав в кружок, о чем-то болтали между собою. Говорят, что здесь, в уединении маленького сада, давно существует нечто вроде самодеятельного клуба «Молодой матери». Двое мальчишек пасовали друг другу мяч перед стеклянным павильоном бывшей мастерской батальной живописи. Здесь делались когда-то этюды с всадниками. Коней приводили в сад, ведь не будешь поднимать их по крутым лестницам в мастерские главного корпуса. Теперь батальная живопись, кажется, уже забыта…

Учеников Академии в летний день в садике не было, они приходят сюда осенью, когда начинаются занятия. Мой частый спутник в «Прогулках по Петербургу», выпускник Академии, историк архитектуры Михаил Николаевич Микишатьев вспоминал, как он на первом или втором курсе здесь, на пленэре

рисовал деревья, и они не очень-то получались у него. «И вообще, – признался Микишатьев, – сад этот мы часто рисовали с третьего этажа, из окон архитектурной мастерской. С высокого горизонта деревья кажутся ровными, но зато их основания, корни, как бы подвешены на разной высоте. Очень живописно!»

И, может быть, как раз в этом старинном саду, – простите за фантазии, – под сенью живописных дерев было бы уместным создать аллею бюстов знаменитых выпускников Академии. Я говорю это потому, что два таких бюста – Ильи Репина и Василия Сурикова – неожиданно появились в соседствующем садику Академии, Румянцевском сквере. Два гения смотрят на Неву, на невские набережные, которые, вообще-то, художники эти своим талантом не жаловали. И потом у Румянцевского сквера, или Соловьевского сада, как по-прежнему называют его многие василеостровцы, – совсем иная судьба, иная аура. Он связан с Академией разве что своим соседством с ней.

Российские газеты называли Румянцевский сквер лучшим из всех петербургских скверов. Так газета «Русский инвалид» 25 июня 1867 года писала о том, что сквер этот «…достоин любой из европейских столиц. Все в нем, начиная от прекрасной решетки до последней скамейки, так хорошо, что, кажется, не остается желать ничего лучшего».

В сквер василеостровцы стали ходить с конца 1865 года, хотя последние работы в нем, в частности, пуск фонтанов, были завершены позже.

История названия этого очаровательного зеленого оазиса связана с обелиском «Румянцева – победам». Он появился почти за полвека до открытия сквера на располагавшемся здесь тогда парадном плацу Кадетского корпуса, да так и остался стоять по сию пору.

О памятнике этом, об особенностях его расположения я упоминал уже в главе «Тайны Соловьевского переулка». Подробные же сведения об его установке, оформлении, реставрациях вы можете почерпнуть из очерка Н.Н. Весниной «Румянцевский сквер» в книге «Сады и парки Ленинграда».

Соловьевским сад островитяне называли в память о сибирском золотопромышленнике, купце I гильдии С.Ф. Соловьеве, который не только жил по соседству в доме 1/3 по Второй линии, но и преподнес городу дорогой подарок, устроив на месте пыльного плаца шикарный сквер. О том, чтобы саду было дано имя Соловьева, ратовали депутаты городской думы. Член городской Управы И.П. Медведев в уже упомянутой мною книге «Описание древесных насаждений г. С.-Петербурга» делает на этот счет пояснение: «На присвоение этому саду (не скверу, а

саду. – В.Б.) названия Соловьевский не последовало высочайшего соизволения, и сад наименован Румянцевским».

Таким был в начале XX века Румянцевский сквер или Соловьевский сад, как зовут его до сих пор старожилы-василеостровцы.

Был он гуще, чем теперь, но, правда, и деревья в нем были помоложе.

Если присмотреться, то в просвете между деревьями – это правая сторона снимка – видна стоящая на мраморном постаменте ваза. Ныне утраченная, как впрочем и сам постамент… (Начало 1900-х гг. Фотограф К. Булла).

Да, предпочтение было справедливо отдано графу Румянцеву-Задунайскому и памяти о его победах. Золотопромышленник же мог довольствоваться тем, что увековечил (правда, как оказалось не навсегда) свое имя в названии переулка. А между, тем, он сделал для города действительно благое дело, служа в этом смысле и сегодня примером для многих весьма богатых людей.

В 25 000 рублей серебром обошелся ему один из садов, которые, как говаривал Петербургский генерал-губернатор Игнатьев, необходимы городу «для освежения воздуха и прогулки обывателей за определенную плату». Кстати, о денежных взыманиях. Через три с небольшим года после смерти Соловьева его сестра Е.И. Переяславцева передала сад городу и с той поры вопрос о плате за вход с гуляющей там публики был исключительно в ведении городской казны.

Что же, собственно, обрел Петербург? Прежде всего, озеленённую, исключительно ухоженную территорию площадью в 1,3 гектара. Здесь по проекту архитектора Николая Николаевича Ковригина были разбиты аллеи, газоны, высажены деревья, устроены цветники, и все пространство сада обнесено прекраснейшей, отлитой на заводе Сан-Галли, чугунной оградой с тремя воротами и двумя калитками. На аллее, идущей по периметру сада, имелось восемь полукружий. «В двух полукружьях, со стороны Невы, – как свидетельствует В.И. Визе, – стоят (это в 1907 г. – В.Б.) две мраморные вазы на таких же постаментах, и металлическая, на сером гранитном фундаменте, фигура мальчика, держащего на голове раковину». Был здесь и встроенный в ограду изящный музыкальный павильон: обшитая деревом и богатым чугунным декором эстрада на высоком гранитном цоколе.

И, наконец, самая главная достопримечательность сада – его два фонтана. Чудесные, одни из самых красивых в нашем городе чугунные фонтаны, исполненные скульптором Д.И. Иенсеном. Большие чаши, установленные на восьмигранных тумбах; выше – чаши малые, а уж над ними – узкие чаши с трубками водометов внутри, украшенные, подобно тумбам, четырьмя львиными головами, только меньших размеров.

Помню свой детский восторг, когда, наряженный в белую с синим воротником матроску, я мчался по краю наполненного бурлящей водой гранитного бассейна. Вода фонтанировала, стекала из одной чаши в другую, била струями из львиных морд.

Сколько же счастья было от близости этой водной стихии, этих брызг, летящих в лицо, от особого радостно-торжественного голоса фонтана.

Увы, этот голос смолк. Уже в послевоенные годы вода почти беззвучно струилась из нижних чаш. Потом поток иссяк, и сад на долгие годы лишился своих чугунных певцов.

Как лишился он и своего музыкального павильона, где еще до начала пятидесятых играл иногда по праздникам духовой оркестр. Потом пришло время испещрять стены павильона бесчисленными «графитти» и слушать лишь журчание воды в расположенном в цоколе общественном ретираднике…

Пришла в негодность и ограда сада. Она лишалась своих звеньев месяц за месяцем, год за годом, как если бы их постоянно выламывали богатыри-тяжеловесы. Как странно, а я еше помню витые колонки у садовых ворот, сами ворота и, кажется, одну из мраморных ваз на полукружьях аллеи.

Ремонтные работы в саду, о скором начале которых еще два десятилетия назад предупреждали большевики, начались только в 1999-м.

Ограду отливали вновь и привозили по частям. Когда я работал над первым изданием этой книги, «чугун» все еще находился в пути. А в музыкальном павильоне, спешно перекрашенном во что-то невообразимое, летом была поставлена стойка с фаянсовой пивной «соской». Так сказать, – вполне в духе времени: не горячий же шоколад продавать в саду из аппаратов Жоржа Бормана, как было когда-то при царе-батюшке. Прошло три года и обновленный сад вроде бы уже был должен принять под свою сень василеостровцев. Правда, для этого ему еще предстояло обрести обличье… сада. Весной 2002 года, когда готовилось второе издание «Прогулок», Соловьевский сад закрыли. Прежде всего, конечно, чтобы праздный народ не мешал ударному труду ремонтников, а может быть и из благих соображений: поберечь эстетические чувства этого самого народа. Сад был изуродован множеством канав, перекопан, а на месте его замечательных фонтанов появились глубокие котлованы. Дело в том, что починка фонтанов оказалась делом весьма непростым. Чтобы возродить нарушенную систему подачи воды, их пришлось разобрать до основания. Чугунные чаши и чугунные восьмиугольные тумбы увезли на реставрацию, а дно и края фонтанов освободили от гранитных блоков с тем, чтобы собрать их в том порядке, как только из новеньких трубок со дна котлована забьют полноценные струи…

И все же осенью 2002 года Соловьевский сад воскрес на глазах почтенной публики.

Спасибо городским властям! Спасибо василеостровской администрации! Но при всем этом хочется напомнить, что на содержание сада в 80-х годах XIX века городские власти выделяли ежегодно немалую по тем временам сумму в 700 рублей, отчисляли деньги на косметические ремонты, – они тогда же провели в саду первый капитальный ремонт, затем в начале XX столетия – второй, а спустя еще десять лет стали готовиться к третьему. Впрочем тут вмешалась революция и ожидание этого ремонта, если не считать проведенных реставраций обелиска, длилось десятилетиями.

Но сад остался жив. Прекрасный, удивительный сад, «способный украсить собой любую европейскую столицу», наперекор всей волоките, всему наплевательству на свою судьбу, он по-прежнему будет даровать нам в летний полдень тень своих деревьев, а в чахоточный зимний вечер – незапятнанную белизну снега.

Правда, есть на Васильевском еще один общественный сад, или, точнее, сквер, который тоже перед юбилеем города явился миру в обновленном обличий. Это «Биржевой сад на Стрелке», как указывал его городской садовник В. И. Визе, по проекту которого он был здесь разбит в 1866 году. Когда-то у сада этого была решетка и ворота со стороны Биржи. Он задумывался, как сад для обозрения прекрасной панорамы невских набережных, и потому не должен был иметь высоких деревьев, а обсаживался низкорослым кустарником, экзотическими растениями и цветами на множестве фигурных клумб. Сад этот век назад был любимым местом прогулок «ищущего тишины горожанина».

А теперь – о бульварах Васильевского. И, прежде всего, – о знаменитых бульварах Большого проспекта. Под их старыми тополями, дубами и каштанами «пробегали свое детство» многие поколения островитян. Здесь устраивала вечерние моционы их юность. Ходила взад-вперед от Первой до Восьмой или от Восьмой до Шестнадцатой, щеголяя нарядами, красуясь и заводя знакомства. О, эти случайные знакомства в летних сумерках, когда так сладко пахнут сирень и стриженная под ежик желтая акация… Конечно же, в самом слове «бульвар», кроме его прямого значения «широкой аллеи на городской улице», скрыто и нечто другое, связанное с легкомысленным времяпровождением. Не отсюда ли растут ноги у «бульварной» литературы?

В годы моей юности в вечерние часы аллеи Большого занимала исключительно молодежь: школяры, студенты, ученики «ремеслух». Но так было не всегда. В книге «Большой проспект Васильевского острова» мой ныне покойный одноклассник Виталий Соболь (книга написана им совместно с его женой –

Галиной Никитенко) приводит следующие свидетельства журнала «Отечественные записки» о жизни аллей Большого в первой половине XIX века. Надо при этом сказать, что были они в то время узкие и тянулись вдоль частных палисадников, занимавших значительную часть проспекта.

«Летом каждый вечер множество туземных жителей выходило на бульвар Большого проспекта, и с семи до десяти часов бывало гуляние чрезвычайно многолюдное. Здесь были статские и военные, студенты и педагогисты, дочки и маменьки. Многие были знакомы между собою, все непременно знали в лицо друг друга… Бульварные прогулки были описаны местными стихотворцами в нескольких сатирических поэмах. Поэмы эти, нигде не напечатанные, ходили по рукам между островитянами».

«O tempora, o mores!..» В наше время нравы были другими. И Виталик Соболь, конечно же, помнил те, частенько кончавшиеся кровью стычки, когда одна юная компашка вторгалась на бульваре в ареал обитания другой. Я пишу сейчас, сжимая карандаш с чернильным стержнем большим и указательным пальцами. Карандаш ходит слева направо, но стоит мне задуматься над словами, остановить движение, и глаза всякий раз упираются в небольшой шрам. Он остался с юности. Когда здесь, на бульваре, в возникшей в темноте драке кто-то зацепил мое запястье перочинным ножом. Помню до сих пор то дерево, под которым, сидя на земле, я пытался носовым платком остановить кровь. Вообще, помню «в лицо» некоторые деревья Большого проспекта. С каждым из них что-то связано. Но такие же деревья, уверен, есть и у многих сверстников…

Когда же возник этот бульвар, с чего начинался? А начинался он с просеки, которую пробили аж до самого залива по указанию светлейшего князя Меншикова. Просека продолжала одну из аллей в его знаменитом саду. Было это еще до того, как Трезини составил свой проект планировки Васильевского, по которому на месте просеки предполагалось проложить большой канал. Канал не начинали рыть долго, прорыли лишь дренажные канавки, а потом и совсем отказались от этой затеи. Тем временем, здесь, прямо по центру просеки, была набита торная дорога. По ее обочинам, справа и слева, тянулись заросшие крапивой, лопухами и лебедой обширные пустыри, которые отделяли на почтительное расстояние от этого пешего и гужевого пути редкие в ту пору деревянные строения будущего проспекта.

Наконец, в заботах о благоустройстве города, в 1767 году Екатерина II подписывает Указ о дальнейшей судьбе Большой Першпективы. «Першпектива, – говорится в нем, – имеет не малую широту, которую всю замостить, потребен великий кошт.

Ежели ж ее уменьшить, то построенные ныне дворы следует переносить, на что и более суммы произойдет: сохраняя сии неудобства, вымостить одну сторону, что ныне между каналами», то есть канавками.

Так и было сделано. И полетели по новенькой мостовой, едва разминаясь при встрече друг с другом, кареты и возки, а пустыри, заросшие сорными травами, так и остались здесь до начала века девятнадцатого.

Бульвары на Большом стали устраиваться по высочайшему повелению от 31 мая 1810 года. Но еще до этого кому-то в голову пришла светлая мысль передать участки пустырей перед домами проспекта в частное пользование, с одним только условием, чтобы при этом была возведена приличная сквозная ограда. Вот тогда-то и началось стихийное озеленение Большого. Каждый захотел иметь перед домом и свой садик. И первые аллеи бульвара были проложены – где в один, где в два ряда, – как раз ближе к проезжей части, вдоль изгородей частных садов.

Еще в начале XX века эти узенькие бульвары, переданные в собственность города в 1826 году, начинаясь у Первой линии, доходили лишь до Шестой. Ну, а вдоль каких оград они проходили, можно судить по открытке, которую показала мне доктор биологических наук, автор книги «Растения в городе» Тамара Константиновна Гормышина. Мы совершали с ней прогулку по Большому проспекту, когда, остановившись у одного из домов, она протянула мне открытку: «Узнаете?» Над глухим деревянным забором, заслоняя собой все, что можно заслонить, высились купы деревьев. Местность вообще смотрелась, как загородная. И если бы не вагончик трамвая и внушительного вида фигура полицейского, трудно было бы даже заподозрить, что это все-таки Петербург. А о том, что снимок сделан именно на Большом проспекте, я узнал уже из текста на обороте открытки.

Бульвары Большого стали такими, какими мы их видим сегодня, уже после революции, когда были национализированы частные дома, а с ними заодно и частные сады перед ними. В 1922 году архитектор Фомин предложил убрать у этих садов ограды, тем более, что каждый забор имел свою конфигурацию, отступая от условия о некотором единообразии и «прозрачности ограждений». Ограды был и убраны от Первой до Шестой линии. Но по-настоящему разбивкой бульваров на месте частных садов занимались уже с 1927 по 1932 год. По проектам архитекторов А.А. Ильина и В.В. Данилова на Большом появилось два идущих параллельно центральному проезда, сделаны тротуары перед домами, а объединенные сады зимой сфотографировали с воздуха. Натоптанные пешеходами тропинки четко выделялись на

снимках. Эти «дороги общественного мнения» и учли при окончательной планировке бульвара.

Как это ни покажется странным, но почти ровесником бульвара на Большом является бульвар, идущий между Шестой и Седьмой линиями. Первоначально он соединял аллею Большого проспекта, доходившую до Андреевского собора, с аллеей, которая проходила по Среднему проспекту от Малой Невы до Шестой линии и имела два ряда деревьев. Об этом мало кто знает. А между тем, остатки бульвара на Среднем существовали еще в 20-е годы XX века. У Вадима Шефнера, например, в его «Записной книжке Василеостровца» можно прочесть: «В двадцатые сюда по Среднему проспекту от Пятой до Шестой линии тянулся бульвар; помню, перед Рождеством на нем ёлки продавали. Он много места занимал, из-за него трамваи шли у самой панели. Наверное, по той причине, чтобы опасности для пешеходов не было, его и срыли». Впрочем, память об этом бульваре – десяток молоденьких деревьев на отрезке между Кадетской линией и Малой Невой – существует и сегодня.

Большой проспект Васильевского острова. 2002 г.

Но не слишком ли много – о садах и бульварах Васильевского? Не пора ли, как говорил Павел Петрович Свиньин, поспешить к другим «достопамятностям».

По Второй и Третье
Прогулка пятая

которая приведет читателя к некоторым из домов Второй и Третьей линий; познакомит с «кирпичной архитектурой» и некоторыми обстоятельствами жизни Михаила Глинки и Виссариона Белинского; завернет во двор дома, где были мастерские Леонтия Бенуа и Сергея Судейкина, привлечет Ваше внимание к местожительству семьи знаменитого автора учебника по алгебре, а также поможет увидеть иным скрытный пока от нас облик этих василеостровских линий.

Зти две линии, впрочем, как и Первая с Кадетской, уже изначально пересекали остров «от воды до воды», от Большой Невы до Малой. Остальным же линиям не суждено было сразу же «перешагнуть» ни Малый, ни даже Средний проспекты.

Я не буду говорить о первых домах, которые появились здесь, и вообще касаться далекой старины. В предыдущих главах уже были упомянуты и прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал, и владелец знаменитого «Бонова дома» Герман-Иоган Бон, Ботанический сад Академии наук, Химическая лаборатория Ломоносова, Академия художеств и целый квартал прилегающих к ней и принадлежавших Академии домов.

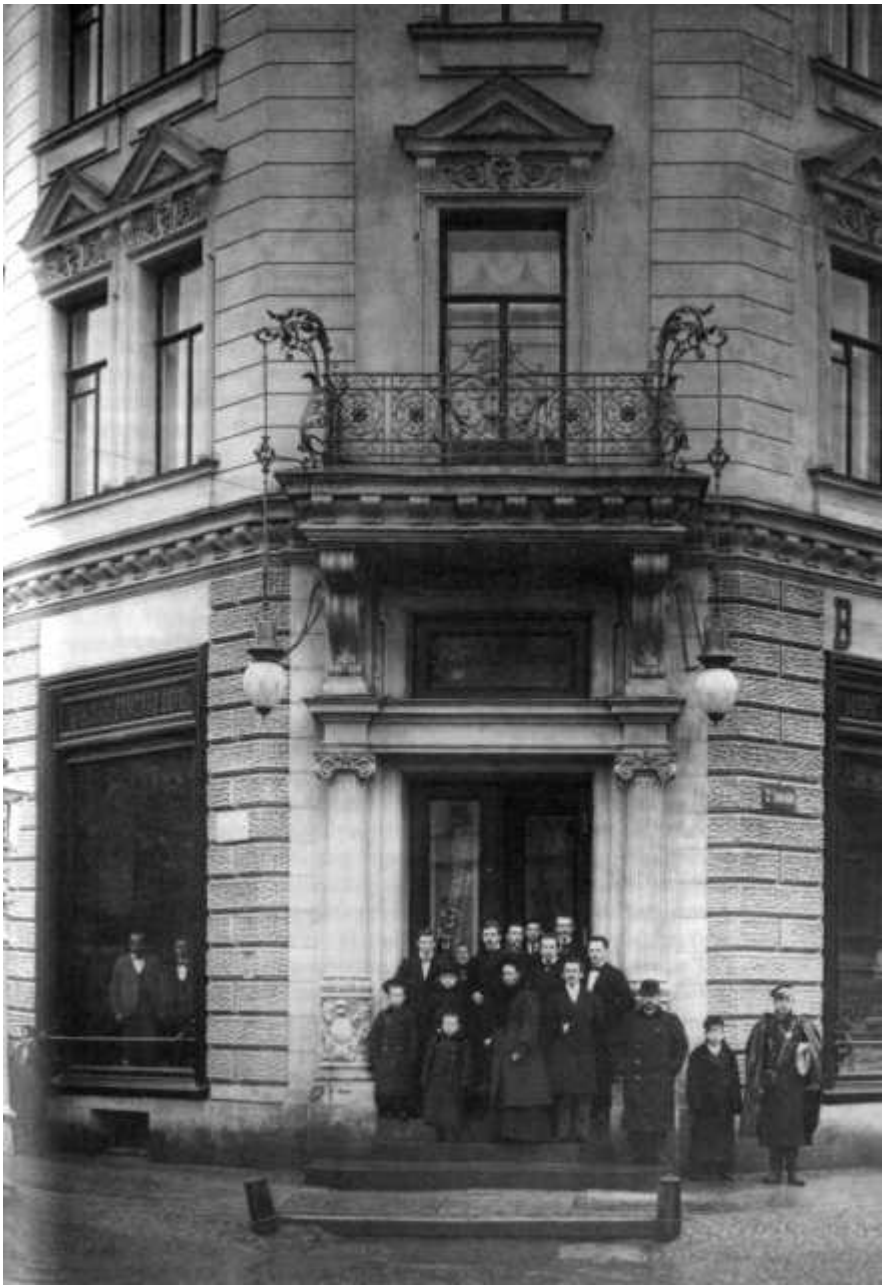
Речь пойдет о временах более поздних, когда Вторая и Третья линии и получили в основном то обличие, которое имеют сегодня. А это – плотные ряды разновысоких домов: двух– и трехэтажных выходцев из первой половины XIX века, четырех– и пятиэтажных – его второй половины, и даже шестиэтажек, появившихся на заре века XX.

Нет-нет да и мелькнут здесь исполненный в стиле классицизма особнячок, вроде того, где располагается ныне «Петроаэробанк», нарядный «эклектик», что стоит, красуясь своей эффектной башней-эркером в самом начале Второй линии, или какой-нибудь представитель декоративного модерна, а то и неоклассицизма.

Но из архитектурных изысков Второй и Третьей все-таки

следовало бы, в первую очередь, назвать дома «кирпичного стиля». Это направление в зодчестве задали в последней четверти XIX века Виктор Шретер и Иероним Китнер. Их общая работа – доходный дом В.Ф. Штрауса (Вторая линия, 9), самое заметное сооружение на этом участке улицы между Соловьевским садом и Большим проспектом. Трудно побороть в себе желание тотчас поселиться в таком доме. Он самобытен, наряден и даже по-своему уютен внешне. А, между тем, в его отделке присутствует лишь желтый и красный кирпич и небольшие керамические барельефы.

Таких домов на Второй и Третьей – несколько. Это и дом №20 архитектора Леонтия Бенуа, где облицовочный кирпич сочетается с естественным камнем и керамической плиткой, и дом №26 работы Германа Гримма и Густава фон Голи, и хорошо знакомое василеостровцам, как поликлиника, одно из зданий больницы святой Марии Магдалины (Третья линия, 50) возведенное по проекту Александра Шиллинга, и, наконец, доходный дом углепромышленника Бёкеля (Вторая линия, 23) – прекрасное детище Федора Пуншеля.



Дом №39/16 на углу Среднего проспекта и Второй линии возведен в 1898 году архитектором В.В. Шаубом по заказу купца К.И. Путилова. Здесь же в первом этаже был открыли магазин торгового дома «Путилов», где продавались, судя по надписям над витринами, сукна, драп и трико, мужская и дамская обувь, ковры и мебельные материи, бумажные ткани и полотно.

Сохранял магазин, в основном, свой профиль и после революции, и долгое время после войны. Я помню его прекрасные

интерьеры, исчезнувшие после капитального ремонта в конце 70-х.

Потом сюда с товарами для новорожденных «прилетел» магазин «Аист»… В 2003 году «Аист» улетел.

Но членам семьи Путилова, собравшимся на ступенях своего детища, не дано знать о его судьбе. Они спокойно смотрят в объектив фотокамеры и ждут, когда оттуда выпорхнет птичка… (1912-1913 гг. Фотограф К. Булла.).

Об этом доме надо сказать несколько слов особо. Здесь размещается с 1919 года Гидрологический институт и единственное в России Гидрометеорологическое издательство, в котором мне не раз приходилось бывать, правда, много лет назад, – по делам, связанным с подготовкой к печати одной научно-популярной брошюры. Хорошо помню витражи, внутреннюю планировку этого здания, богатые интерьеры и, всякий раз охватывавшее меня – тогда еще совсем молодого журналиста, – чувство почтения перед пожилыми гидрологами, которые работали здесь в начале шестидесятых. Ведь именно сотрудники Гидрологического института блокадной осенью 1941 года теоретически рассчитали грузоподъемность будущей ледовой «Дороги жизни».

А теперь мысленно перенесемся на угол Среднего проспекта и Второй линии, к дому №39, в высоком первом этаже которого некогда размещался шикарный галантерейный магазин торгового дома «Путилов». Еще до войны и, кажется, какое-то время после войны, посетителей магазина встречало у дверей чучело огромного медведя. Медведь стоял справа от входа, держа перед собой в лапах медную тарелку. Он достался советской торговле еще от прошлого режима. В тарелку никто ничего не бросал и ничего не брал из нее. Она всегда была пуста, хотя по легенде когда-то в ней лежали маленькие сувениры для состоятельных покупателей, заглядывающих в этот магазин.

Состоятельной публики, между прочим, в те времена жило окрест предостаточно. Здесь в домах, возведенных на стыке веков лучшими архитекторами столицы – Бенуа и Гриммом, Пуншелем и фон Постельсом, Китнером и Шретером, селились люди, способные оплатить огромные фешенебельные квартиры. Тогда же эта улица неожиданно стала приобретать военно-аристократический характер, не менее дюжины участков принадлежало здесь генералам, адмиралам, крупным правительственным чиновникам. При этом состоятельность домовладельца подчеркивалась отнюдь не только впечатляюще-модными постройками «кирпичного стиля», а и респектабельной «эклектикой», с отштукатуренными рельефными фасадами, лепным устройством, всевозможными оригинальными

балкончиками, решетками и зонтиками над парадными.

Чередуясь друг с другом, дома с фасадами, окрашенными в нежные пастельные тона, и фасадами, сверкающими облицовочным кирпичом, создавали неповторимое впечатление. Это потом все рухнет в тартарары. И многие годы некогда ухоженная улица будет довольствоваться редкими выборочными ремонтами своих зданий. Но вот видимо в связи с приближающимся юбилеем города кто-то бросил в тарелку медведю несколько миллионов рублей, и Вторая и Третья начали напропалую чистить свои перышки.

Там, где ремонт уже прошел, улица словно помолодела лет на сто. На отрезке от Среднего до Малого сияет, как начищенная посуда, стайка домов с №52 по №58. Дом №54 вообще выстроен заново по лучшим канонам современной архитектуры. Он появился на месте, где когда-то был забор и проходная обувной фабрики «Восход». Теперь это административно-жилой комплекс совместного с американцами обувного предприятия «Альба». Вахтера сменил придирчивый охранник. Чтобы осмотреть двор, мне пришлось долго совать ему под нос журналистское удостоверение.

А напротив новосела, на другой стороне улицы, терпеливо дожидаются своей очереди на помывку чумазые дома – старожилы Второй линии. «На помывку» – это у меня по ассоциации. Где-то здесь рядом, на подходе к Малому, всегда был трущобный «проходняк» к Первой линии. Он же вел к старинным, облезлым как шелудивый кот, Клименковским баням. В детстве и юности я бывал там и помню убогость их помывочных и чудовищные правила, которые царили в раздевалках. Жестяной «номерок» там надо было брать с собой и привязывать его хоть к ручке тазика, хоть к ноге. Прямо – из знаменитого рассказа Михаила Зощенко. Михаил Михайлович, оказывается, тоже бывал в этих краях. На родной Васильевский в двадцатые годы он приезжал, уже будучи известным писателем. И один из этих адресов, по словам М. А. Мамедова, – дом №44 по Третьей линии. Здесь в первом этаже помещалась сапожная мастерская Матвея Ивановича Иванова. Они были знакомы, и Зощенко, беседуя с ним, иногда себе в удовольствие подбивал на сапожной лапе чью-то прохудившуюся обувь.

Клименковские бани рождают у меня и другую ассоциацию. На Второй линии, почти рядом с подворотней, ведущей к баням, в доме №51 когда-то жил со своей супругой Нелли Рудольфовной отец моего ныне покойного друга Рудика, Георгий Зиновьевич Альтман. Был он тучен, сед, немногословен и очень любил сражаться со мной в шахматы. До того, как выйти на пенсию,

Георгий Зиновьевич работал на заводе Козицкого, кажется, ведущим инженером. В свое время он был даже знаменит какими-то своими новациями в радиотехнике, но старость коротал в полуподвальной, сырой и темной, крошечной квартирке.

Было одно обстоятельство, которое, кроме шахмат, вечно тянуло меня к нему на Вторую. В Гражданскую, я это знал от Рудика, Георгий Зиновьевич Альтман был комиссаром в отряде Щорса. Сам он об этом никогда не распространялся, а на все мои наводящие вопросы лениво отшучивался: дескать, чего-когда было – уже и не помнит, ведь прошла еще одна война, в которой дослужился он до полковника, а толку от этого, Витька, как видишь, никакого.

Когда Георгий Зиновьевич умер, а случилось это в конце 70-х, его хоронили со всеми положенными полковнику почестями. Старых товарищей по борьбе и труду на кладбище не было. Но был оружейный салют и оркестр из комендатуры.

А спустя какое-то время вдова Георгия Зиновьевича (сам Рудик находился безвылазно на Севере, где работал после окончания Горного) попросила посодействовать в обмене квартиры или, точнее, похлопотать перед властями «о возможном улучшении проживания ее и прописанного вместе с нею сына». Действовать я решил через Василеостровский райком партии, куда и были запущены бумаги с просьбой помочь семье участника революции, Гражданской и Отечественной войн, а также документы, которые передала мне Нелли Рудольфовна.

Вскоре последовал звонок из райкома: «Насчет Щорса, это – правда?». «Но ведь есть документы…». «Хорошо, проверим через партархив». Во второй раз секретарь райкома позвонил мне через три месяца: «Верно. Был комиссаром у Щорса… Но был в свое время бундовцем. Вы-то хоть знаете об этом?»

Я не знал. И, закончив разговор, понял, что затея наша лопнула. Вообще, мне стало казаться, что я присутствовал на каком-то сюрреалистическом спектакле, где на закате советской эпохи под гром прощального салюта предали земле члена «Всеобщего еврейского рабочего союза». Однако, квартиру почему-то дали. В новом доме на Кораблестроителей. «Шел отряд по бережку…», – спел я на новоселье. Но квартира не пошла никому из Альтманов впрок. Нелли Рудольфовна вскоре умерла. Затем умер и Рудик. К сожалению, воспоминания тянут за собой подробности и замедляют путешествие. Но без них я тоже обойтись не могу. Тем более здесь, на Второй и Третьей, воспоминания эти возникают на каждом шагу.

В шестиэтажном доме №46 в пятидесятые годы случилось чудовищное происшествие. В газетах тогда не принято было

писать ни о чем таком чудовищном. Несколько мальчишек играли в подвале дома. По какой причине, я не помню, но там начался пожар. И детям никак невозможно было выбраться из огня… Случай этот в рассказах очевидцев обрастал самыми невероятными подробностями и о нем только и разговору было на Васильевском.

Перед домом №34, где в Первую мировую помещался ресторан «Ямка», и куда после реставрации въехало отделение Сбербанка, раньше было крутое, неуклюжее крыльцо, на котором в летние вечера, за неимением в округе скамеек, рассаживались обитатели дома. Этот птичий шесток напротив лютеранской церкви Святого Михаила всегда привлекал к себе внимание прохожих, как диковинная достопримечательность округи…

В доме №41, который важно восседает на участке, некогда принадлежавшем Абраму Петровичу Ганнибалу, жил еще мальчиком перед войной космонавт Шаталов. А в самом начале перестройки здесь же, в коммунальной квартире обитал некий Лева Сажин. Он кипел проектами по части нестандартного бизнеса. Кстати, впервые обозначенного для нас, непросвещенных, еще в шестидесятые товарищем моей юности, поэтом-неудачником и автором идеи о самодостаточности Васильевского Андреем Н. Я рассказывал о нем в самом начале книги.

Но Андрею, конечно, и не снилось то, что приходило в голову Леве Сажину. Один из проектов, который якобы мог принести ему миллионное состояние, сводился к сколачиванию группы милых, остроумных, общительных, музыкальных, знающих поэзию или способных на стихотворные импровизации людей, которые бы от возглавляемой им фирмы «Очаровательные гости» выезжали по вызову на всевозможные семейные и общественные празднества. «Индивидуальные услуги, – любил повторять Лева, – особенно для пожилых дам, по особой таксе». Сейчас таких фирм много, а тогда… Сам Лева, правда, по другому поводу, отбывал срок за крупное мошенничество.

Но, наверное, хватит разговоров о курьезном. Лучше поговорим о тех истинных знаменитостях, которые осчастливили Вторую и Третью тем, что жили здесь или заглядывали сюда на огонек.

Перечень этих знаменитостей еще задолго до меня составил мой одноклассник Виталий Соболь, о котором я уже упоминал в предшествующей главке. Он даже написал краткий путеводитель по Второй и Третьей линиям, опубликованный в 22-м номере журнала «Блокнот агитатора» за 1975 год. Был такой журнал в Ленинграде, который нормальные люди брали в руки только из-за

того, что там появлялись иногда статьи по истории города. Я тоже заглядывал в него. Итак, если идти по Второй и Третьей от Малой Невы к Большой, первый адрес, который должен заинтересовать нас, – дом №58. Здесь жил великий знаток природы и прекрасный детский писатель Виталий Бианки. Во время студенческой практики в «Ленинских искрах», где-то в середине 50-х годов, я брал у него интервью. К сожалению, эта газета не сохранилась. Кажется, материал назывался «Где зимует еж». А в памяти остался лишь вкус заваренного на сборе трав чая, который я отведал у Виталия Валентиновича.

В доме №41 в конце прошлого века снимал квартиру скульптор Роберт Бах. Вы, конечно же, помните прекрасный памятник Пушкину в Царском селе: юноша-лицеист в задумчивости сидит на садовой скамье. С памятником этим связано множество историй. В том числе и одна трагикомическая. Ночь на 15 октября 1900 года, накануне открытия памятника, поэт Иннокентий Анненский провел в бессоннице. Он мучительно пытался вспомнить: точно ли воспроизведены на цоколе памятника подобранные им пушкинские стихи «В те дни в таинственных долинах, весной, при кликах лебединых…» Или вместо «кликах» там выбито «криках»…

К Царскосельскому лицею имел косвенное отношение и одноэтажный особнячок, стоявший на месте дома №31. Здесь в 1836 году снимал квартиру Е. А. Энгельгардт, бывший директор лицея. В самом же доме, который стоит на Второй линии с 40-х годов XIX века, в начале XX века жил известный филолог В. Ф. Шишмарев.

Интересна история дома №37 по Второй линии. Это тот самый, уже упомянутый мною, очень симпатичный двухэтажный особнячок в классическом стиле. Он появился здесь в 20-х годах XIX века и поначалу принадлежал купцу Рахманову. С 1874 года хозяином особняка стал адмирал Константин Павлович Пилкин. Это был очень уважаемый адмирал: участник защиты Петропавловска-на-Камчатке во времена Крымской войны, командир отряда кораблей на Тихом океане, капитан Кронштадтского порта, большой специалист минно-торпедного дела, он был многократно удостоен высших российских наград, многие годы возглавлял Морской Технический Комитет и даже являлся членом Адмиралтейств-Совета.

Адмирал умер до революции. Родственники его, наверное, не должны были бы испытывать особых неудобств и притеснений от Советской власти, если бы не сыновья адмирала, оказавшиеся в белой эмиграции.

Именно страх перед большевистской расплатой за деяния

младших Пилкиных и привел к одному курьезному происшествию, о котором я хотел бы упомянуть. О происшествии этом мне рассказали правнучки адмирала, две пожилых, но сохраняющих питерский шарм дамы. Так вот, где-то в 1918 году, проживавшие в то время около Николаевской набережной, родственники Пилкина, боясь обысков, решили утопить в Неве увешанный орденами парадный мундир адмирала.

В семье осталось предание о том, где именно затоплен вышитый золотом мундир Пилкина. Но когда многие годы спустя с помощью водолазов его стали искать на дне Невы – найдено там ничего не было. Видно, забрал ордена с собой на тот свет Константин Павлович, раз уж близкие хранить мундир побоялись…

Перед самой революцией особняк приобрел Александр Александрович Коровин, один из хозяев купеческого дома «Коровины А. и С.», владевшего в Петербурге множеством домов. Здесь, после некоторых переделок, замышлял он, по-видимому, разместить свое, одно из самых больших в Петербурге, частное собрание картин. Не успел… Теперь картины эти – в Русском музее.

Давайте придержим шаг у дома №20 по Третьей линии.

Дом этот в 1897-1898 годах был построен Леонтием Николаевичем Бенуа. Построен, как доходный. Но Бенуа и жил в этом доме. Здесь, во дворе, прямо напротив въездной арки, на третьем этаже флигеля находилась его огромная мастерская. Она, кстати, существует по сию пору. И здесь же во дворе, налево, на высоте 5-го этажа, есть еще одна мастерская, в которой работал над театральными декорациями один из знаменитых «мирискуссников» Сергей Судейкин. Уже после революции мастерскую эту занимал талантливый график Павел Александрович Шиллинговский. Помните его гравюры Петрограда времен разрухи 20-х годов? Эти заваленные дровами набережные, эти выброшенные на берег, как потерпевшая крушение Россия, громадные барки, это серое, тоскливое небо… Шиллинговский был основателем графического факультета Академии художеств. Он рисовал блокадный Ленинград. И погиб здесь, в осажденном городе.

Весьма любопытен фасад дома №20. Богато декорированный, он украшен и двумя керамическими щитами с желтыми бурбонскими лилиями на синем фоне. Это намек, сделанный хозяином дома Леонтием Бенуа на свое французское происхождение.

А вот фасад соседнего с творением Бенуа дома № 18 оформлял в духе неоклассицизма современник Леонтия

Николаевича, эмигрировавший в 1920 году в Америку, Федор фон Постельс. Здесь особо привлекает внимание вход в парадный подъезд дома. На украсившем его барельефе две грации в греческих одеждах как бы приподнимают перед входящими в дом тяжелый полог.

С именем фон Постельса связан и дом №29 по Второй линии. Это как раз напротив дома №20 по Третьей. Он построил его в 1906 году в редком для Петербурга, где в основном правил модерн северный, стиле декоративного модерна. Это была одна из первых работ Постельса в Петербурге. Дом возводился им для купца И. Ф. Смирнова на месте дожившего здесь до начала XX века деревянного дома, который имел длинную историю и многих сменявших друг друга владельцев. В основном это были купцы и таможенники.

А первым хозяином, как явствует из документов, был тоже «фон», только не ясно какой национальности. В документах он обозначен, как «представитель французской нации Андрей Осипов сын фон Гольц».

За домом был сад, выходящий на Соловьевский переулок. И каждый из хозяев приспосабливал его территорию на свой лад: то здесь возводили стеклянные оранжереи, то оранжереи превращались в конюшни, а кладовые переделывались в сенные сараи.

Последним, кто владел уже каменным, возведенным фон Постельсом домом, был Андрей Петрович Киселев. Он приобрел его в 1910-м и был хозяином здесь до 1917 года, о чем и говорит соответствующая купчая. Вряд ли кто, сталкиваясь с ней, придавал особое значение личности домовладельца. Ну, Киселев и Киселев, был до него Смирнов, был Андрей Осипов. Мог быть Сидоров или Кузнецов. Фамилия Киселев – распространенная.

Но каково же было удивление председателя историко-краеведческого клуба «Васильевский остров» М. Г. Козыревой, когда на одном из заседаний клуба, упомянув дом Киселева, она вдруг услышала, что это не кто иной, как знаменитый автор школьных учебников по алгебре, геометрии и тригонометрии. Учебники эти выдержали десятки изданий до революции, множество раз и на многих языках переиздавались уже в годы Советской власти, и на них, что называется, «выросло» несколько поколений российских граждан.

Андрей Петрович приобрел этот дом, будучи отцом большого семейства. Видимо, для столь дорогой покупки ему помогли и средства его жены, урожденной Шмидт, владевшей усадьбой в Воронежской губернии. После революции одна из дочерей Киселева, Елена Андреевна, выйдя замуж за профессора физики

серба Белимовича, уехала навсегда в Югославию; эмигрировал и один из сыновей Киселева, в прошлом царский офицер. Однако судьба миловала остальных членов семьи и, насколько известно, они не подвергались каким-либо репрессиям. До сих пор живет в доме №29 правнук Киселева, а на Пятой линии – его внуки и правнуки. Сам Андрей Петрович умер в 1941 году уже в весьма почтенном возрасте.

Любопытна судьба Елены Андреевны Киселевой (Белимович). Она была художницей. Это для нее надстраивался правый дворовый флигель с тем, чтобы создать там громадную мастерскую. Как художница, уже до революции она была достаточно известна. О ней упоминает в своих воспоминаниях И.Е. Репин. Сохранились и письма Киселевой к Репину. Но что было с ней после отъезда заграницу, долгое время в России никто ничего толком не знал.

Первой завесу тайны приподняла воронежский искусствовед Маргарита Ивановна Лунёва. Она стала интересоваться судьбой картин Елены Киселевой, да и всем, что связано с ней. И тут вдруг оказалось, что Елена Андреевна жива… Дело в том, что на одном из ее писем Репину двадцатых годов была пометка «Сербия». Лунёва обратилась к югославским властям с просьбой помочь ей уточнить, откуда именно из Сербии было послано письмо. В ответ ей отыскали живую Елену Андреевну.

Елена Киселева чрезвычайно обрадовалась, что кто-то в России интересуется ее творчеством. Она готова была отдать все свои картины в Воронежскую галерею, на родину своей матери. Но… Лунёву по каким-то соображениям не выпустили из Союза в тогдашнюю «полукапиталистическую» Югославию, а Елена Андреевна, уже будучи в преклонных годах, так и не дождавшись «советской гостьи», – умерла. Все ее картины ушли к родственникам в Канаду и теперь, надо полагать, мы их вряд ли увидим.

Но пройдем дальше в направлении Большой Невы.

На углу Большого и Третьей линии есть еще один адрес, связанный с точными науками. Здесь в доме №4 в 1840-х годах жил один из основателей русской математической школы Михаил Васильевич Остроградский.

Огромную историческую память вобрал в свои каменные стены доходный дом Громова. Это дом №13 по Второй линии, как раз напротив дома, где жил академик. Архитектор Егор Винтергальтер лишь перестраивал и расширял этот дом в 1858-1859 годах. А еще до того, в 40-х годах, здесь на квартире поэта, переводчика и журналиста А. Н. Струговщикова проходили вошедшие в историю российской культуры музыкальные вечера. В

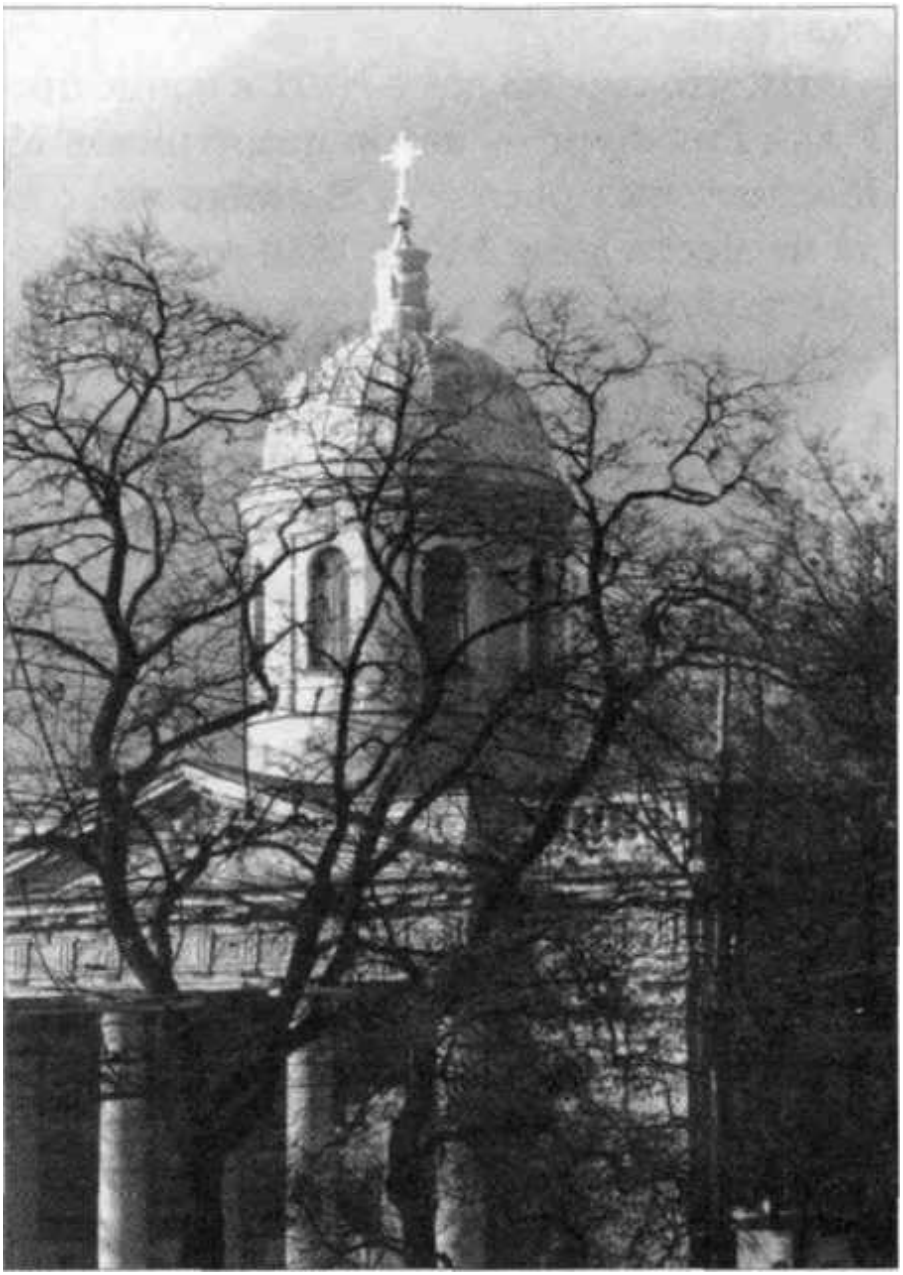
своих воспоминаниях Струговщиков особо отмечает вечер 27 апреля 1840 года. Тогда в гостях у хозяина квартиры в одночасье оказались Тарас Шевченко и Виссарион Белинский, Карл и Александр Брюлловы, талантливый актер Иван Сосницкий и автор известной детской сказки «Городок в табакерке» Владимир Одоевский. Был в этот вечер и Михаил Глинка.

«Заговорили о новой опере Глинки, – вспоминает Струговщиков, – он не выдержал, встал из-за стола и подсел к роялю. Глинка был неистощим. Сначала он исполнил некоторые оконченные номера из „Руслана и Людмилы“, потом знакомил нас, все более воодушевляясь, с рисунками подготовленных номеров – и тут-то исполнение заговорило об руку с творчеством! Взошло теплое утро; окна были отворены и било семь, когда кто-то заметил, что прохожие останавливаются».

В этом доме, но уже перестроенном Винтергальтером, жил с лета 1860 по весну 1861 года и Николай Гаврилович Чернышевский. До снов Веры Павловны еще не дошло. Чернышевский переводил и комментировал «Очерки из политической экономии» Д. Милля. Коммунисты так и не удосужились отметить мемориальной доской одну из квартир бесконечно поминавшегося ими своего идейного пращура. Но столь же равнодушны оказались они, как, впрочем, и долгие годы нынешние власти к тому обстоятельству, что в первом этаже этого дома жила Таня Савичева, оставившая человечеству свой крошечный дневник – чудовищный, ледяной сгусток трагедии блокадного Ленинграда. Памятная доска здесь была установлена только в 2005-м году, с опозданием минимум на полвека.

Мне не раз приходилось бывать в доме № 13. В нем дожил свой век мой одноклассник Толя Козлов, несколькими этажами выше его коммуналки, в коммуналке же, жил Юрий Каплин, учившийся в нашей школе, в параллельном со мной классе. Юры тоже уже нет в живых. Мне все чаще приходится говорить это о своих сверстниках: увы, недолговечным оказалось наше поколение.

Юра был странным человеком. Переехав с прежней квартиры, он многие годы так и не мог разобраться с перевезенными сюда пожитками, и они заполняли насыпями всю комнату – чемоданы, книги, мебель, посуда, – оставляя лишь узенький Суэц к обеденному столу. Юра показывал мне фотографии своего деда или дяди – уже запамятовал. Он был одним из первых русских летчиков и погиб где-то в десятые годы при показательных полетах не то в Австрии, не то в Чехии.



Лютеранская церковь Святой Екатерины. 2002 г.

Как-то, сидя у него, я спросил: помнит ли он, как весной 1953 года приходил с подписным листом в нашу коммуналку на Первой. Его занимал вопрос: собирается ли Ленинград отметить свое 250-летие? И он хотел, чтобы под этим скромным вопросом поставили подписи как можно больше знакомых и даже незнакомых ему людей. Не прошло еще и двух месяцев после кончины усатого вождя, еще не начинало светать, а он уже

витийствовал что-то об общественном мнении.

«Вообще-то, помню, – как-то хмуро ответил Каплин, – но ведь так и не праздновали тогда в Питере юбилея…». И замолчал. Я тоже не стал развивать эту тему. Вовремя вспомнил, что в нашей многонаселенной, еще не отошедшей от многолетнего испуга коммуналке он так и не собрал под своим «воззванием» ни одной подписи.

Ну, что еще? В доме № 11 в конце прошлого века жил скульптор Илья Гинзбург – автор памятников Менделееву и Плеханову на Московском проспекте. В особнячке с мезонином, стоявшем некогда на месте дома №3, в 1840 году снимал квартиру Виссарион Белинский, оставив в память о своем местожительстве письменное свидетельство: «…с чаем и со щами ем алебастровую пыль». Вместе с ним тогда же жил гостивший в Петербурге поэт Алексей Кольцов, и в том же флигеле квартировал живописец Кирилл Горбунов, автор портретов Герцена, Кольцова, Лермонтова и самого Белинского. Четырьмя годами позже здесь же в крошечной комнате с одним окошком поселился Тарас Шевченко.

Вообще-то, улица эта оказалась исключительно богатой на имена выдающихся художников, писателей, ученых, музыкантов, архитекторов. Но есть в ее истории и одна особенность, о которой следовало бы сказать особо. Здесь в XVIII и XIX веках, пожалуй чаще, чем на других линиях, расселялись так называемые «василеостровские немцы».

И не случайно именно здесь, на участке дома №17 по Второй линии еще в тридцатые годы XVIII века была поставлена деревянная домовая лютеранская церковь Екатерининского прихода, а в 1771 году на углу Большого и Первой открыта еще одна лютеранская церковь Святой Екатерины, на сей раз каменная. Пройдет почти сто лет и церковь эта перестанет вмещать в себя по воскресным и праздничным дням всех василеостровских немцев, желающих совершить молитву. И тогда на Третьей линии, на участке дома №32 будет построен лютеранский храм Святого Михаила (арх. Карл Бульмеринг), который многие, видимо из-за его высокого шпиля, величают собором.

Но подробнее о василеостровских немцах вы прочтете в специально посвященной им главе. А пока я приглашаю вас познакомиться с Четвертой и Пятой линиями.

По Четвертой и Пятой линиям
Прогулка шестая

в которой вы узнаете, что еще в начале XIX века невскую воду в дома на Пятой линии носили на коромыслах; представите себе эту местность, как вереницу, тянущихся от Большой Невы до Малой, фруктовых садов и огородов; познакомитесь с Леопольдом Егорычем Кенигом – «цукер» Кенигом, как называли его в Петербурге; удивитесь тому, что на шикарных паркетах особняка Боссе разжигались когда-то вечерами цыганские костры и вникнете в смысл чисто василеостровского присказки-вопроса: «Ты что, с Пятой линии сбежал?»

Вообще, линии эти очень долго – пожалуй, гораздо дольше, чем Вторая и Третья или Шестая и Седьмая,– оставались почти сплошь застроенными деревянными домами. В двадцатые годы XVIII века на месте нынешней Академии художеств стояли три каменных трехэтажных здания, принадлежавших крупным деятелям Петровской эпохи. Одно из них выглядывало на Четвертую линию, открывая счет будущим каменным строениям. Но строения эти не спешили сюда являться… Судя по плану Можаева, к 1750-м годам здесь прибавилось всего лишь два каменных дома. Сооружать дома в камне на Четвертой и Пятой стали лишь в начале XIX века. Они появились на отрезке от Университетской набережной до Большого проспекта, как бы поддерживая своим присутствием гигантское здание Академии художеств, а затем – отдельными островками на пути до самого Малого проспекта и реки Смоленки; тогда она называлась Глухой или Черной. Причем каменные строения, находившиеся за Малым проспектом, принадлежали купцам и имели в основном утилитарное значение, используясь под складские или хозяйственные надобности.

Словом, Четвертая и Пятая долго, очень долго по городским меркам считались откровенным захолустьем. В начале линий не существовало еще привычной ныне гранитной стенки; невский

берег часто подсыпали; набережная была сплошь из деревянных настилов, неухоженная, заросшая травой, с проходами к тоням, где можно было ловить рыбу. На этих тонях, по воспоминаниям Марии Федоровны Каменской, которая жила рядом с Академией художеств, часто можно было видеть ее отца – вице-президента Академии художеств, Федора Андреевича Толстого со своим кучером, помогавшим графу насаживать на крючек червей… На берегу горели маленькие печи, и перепачканные смолой и дегтем матросы с ошвартованных здесь же кораблей, пили из жестяных кружек заморский напиток – кофе.

Чудным, необыкновенным зрелищем представал быт Четвертой и Пятой линий для человека, приехавшего сюда на извозчике, скажем, с Адмиралтейской стороны столичного города Санкт-Петербурга. По описаниям той же М. Ф. Каменской рядом с Академией художеств он вполне мог встретить юную девицу, несущую на плечах коромысло с наполненными до краев ведрами невской воды. Путь девицы лежал к дому знаменитого мистика Лобзина, и она, полуголая, преодолевала его босыми ногами, как по деревенской улице…

Впрочем, и весь Васильевский еще в 1830-е годы во многом сохранял сельское обличие.

Я уже писал, что это был остров садов и огородов. В «Санкт-Петербургских ведомостях» постоянно печатались объявления василеостровцев. Например, «Продается 25 грядок клубники» или «Продается дом с плодовитым садом, в котором 20 кустов крыжберона (крыжовника. – В. Б.) и столько же малины». Писалось о продаже вишневых и яблоневых садов и даже оранжерей, в которых выращивались арбузы. А среди василеостровских адресов чаще всего назывались участки на Четвертой и Пятой линиях. Такой уж она была, эта улица, где, что ни дом, то и сад; и фактически оставалась весьма своеобразной и патриархальной до самого начала XX века.

Четвертая линия, д. №5. Архитектор К. Рахау. 2005 г.

Об этом вспоминает университетский химик Фридрихсон. Он пишет о том, что летом на Четвертой линии, где он жил, сквозь булыжники буйно пробивались желтые одуванчики; перед домами на углу Большого проспекта по-прежнему находились сады, огороженные заборами; «в садах этих мы играли в казаки-разбойники и воровали яблоки…». Зимой на улице были большие сугробы; дворники иногда устраивали костер, сугробы таяли и

растекались ручьями, а вдоль набережной стояло множество воткнутых в снег, выброшенных после Рождества, елок.

А ведь эти воспоминания относятся ко времени, когда застройка Четвертой и Пятой уже была в основном завершена и линии превратились в городскую, беспорядочной архитектуры улицу, на которой рядом с доходными домами-гигантами толпились небольшие, надстроенные на один-два этажа, здания, а особняки, в модном тогда стиле модерн, чередовались с сохранившимися еще деревянными домишками и зелеными пятнами садов.

Такими, впрочем, за исключением исчезнувших деревянных строений и садов, во многом остаются Четвертая и Пятая и сегодня. Давайте пройдемся по ней, совершая остановки в наиболее интересных местах. Правда, при этом я хочу предупредить вас, что частично о Четвертой и Пятой линиях мною уже рассказывалось или будет рассказано. Так об Академии художеств, Академическом садике и захаровском литейном корпусе Академии – он выходит и на Четвертую и на Большой проспект – говорилось в главе «Василеостровские сады», а о бывшей гимназии Шаффе – это дом № 16 по Пятой линии – и Андреевском рынке – вы прочтете в главах «Василеостровские немцы» и «От Дома Академиков до Андреевского собора».

Начнем, пожалуй, с дома № 5, выходящего на Четвертую линию и на Большой проспект. Он возведен по проекту прекрасного зодчего Карла Рахау в 1878 году. Это – одна из последних работ мастера. До этого в Петербурге он сделал себе имя строительством замечательных особняков – Сан-Галли на Лиговке, Мейера на Английской набережной и Громова на Дворцовой набережной. Великолепный вкус проявил Рахау и при проектировании этого доходного дома на Четвертой линии. Мощное четырехэтажное здание на высоких подвалах поражает удивительной соразмерностью и гармонией своих архитектурных деталей, будь то изящные эркеры, широкие окна или рустованные фасады.

Местные старожилы до сих пор называют этот дом по имени его владельца – Леопольда Кенига. Или точнее – «Цукер Кенига», что значит в переводе с немецкого «сахарного короля». Об известном в предреволюционном Петербурге сахарозаводчике Леопольде Егорыче Кениге мы поговорим чуть позже. Но прежде вернемся к тем временам, когда на месте нынешнего дома № 5 стоял другой каменный дом, построенный еще во второй половине XVIII века.

Хозяином его поначалу был переводчик Ф.А. Галченков, который в 1783 году открыл здесь одну из первых частных

типографий в Петербурге. С 1788 по 1797 годы, принявший от него издательское дело, книгоиздатель Е.К. Вильковский в этой же типографии печатает учебники по истории, географии и математике для народных училищ. Вообще, издательское дело оказывается для этого дома традиционным. В 1840 году по этому адресу находится редакция, выходившей один раз в две недели «Художественной газеты», редактируемой А.Н. Струговщиковым, о котором я уже упоминал в связи с домом № 13 по Второй линии. Это была замечательная газета, освещавшая художественную жизнь не только Петербурга и России, но и всей Европы.

Наконец в 1860-х годах здесь издается газета на латышском языке. И тогда же в этом доме снимают квартиры видные петербургские зодчие – Иван Вернек и Федор Габерцетель.

Теперь – о Леопольде Егорыче Кениге, по чьему заказу на месте старого дома был, повторяю, в 1879 году возведен, столь обращающий на себя внимание, шикарный доходный дом-великан. История жизни Леопольда Кенига – история о том, как за сравнительно короткий срок, во второй половине XIX века, благодаря личной находчивости, энергии и упорству, что называется, на пустом месте, создавались новые производства, дававшие их владельцу огромные денежные доходы.

Семейство Кенигов появилось в Петербурге, видимо, в 20– 30-х годах XIX века. Отец Леопольда – Иоганн Георг Генрих Кениг был булочником. Со своей женой Елизаветой Гертрудой Вебер он поселился на углу Большого проспекта и Третьей линии. Супруги имели одиннадцать детей и небольшую пекарню, позволявшую им не только сводить концы с концами, но и кое-что откладывать на будущее.

Эти скопленные по копейкам денежные средства и стали первоначальным капиталом для Леопольда – самого предприимчивого из многочисленных чад семейства Кенигов. В 1873 году он на свой страх и риск открывает бумагоделательную фабрику на Екатерингофке. Трудится на ней в поте лица и на первые же заработанные деньги оснащает производство современной технологией. Видимо, тогда же сын булочника уезжает учиться в Англию, по возвращению из которой покупает на Выборгской стороне сахарный завод. Дальше – больше…

Я не буду перечислять всех этапов пути Леопольда Егорыча, превратившего его из небогатого предпринимателя в знаменитого петербургского сахарозаводчика, миллионера. Это было время становления российского капитализма. Время совсем не похожее на памятные нам 1990-е годы. Тогда не было финансовых трамплинов – нежданно возникшей приватизации, не было

огромных криминальных капиталов, но была – не без этого, конечно – трудная борьба за место под солнцем, в которой, куда чаще, чем теперь, побеждал человек деловой, упорный, изобретательный и, как это ни странно звучит сегодня,– достаточно порядочный.

На предприятиях «Сахарного короля», как, впрочем, и на предприятиях его сына – Леопольда Леопольдовича, не использовался детский труд, для рабочих была страховка, строились отличные общежития; мастерам хорошо платили, а потому в империи Кенигов не было ни стачек, ни забастовок.

Что осталось от Леопольда Егорыча? Осталось имение Шаровка под Харьковом. Он купил его в 1890 году. По данным, почерпнутым из Интернета, Шаровку собирались реставрировать, как памятник усадебного зодчества. Остался и этот доходный дом на углу Четвертой линии и Большого проспекта, в котором сам Кениг не жил, но жило множество видных петербуржцев: художник Николай Рерих, зодчие Александр Полищук и Николай Алексеев, изобретатель электромагнитного трала капитан 1-го ранга Шрейдер.

Я очень советую вам побывать во дворах этого дома. Они по-своему уникальны, как и сам дом, построенный со всеми мыслимыми в конце XIX века удобствами для проживания в нем. Здесь сохранились, размещенные в первых этажах, каретники, использовавшиеся позже, как автогаражи, а скрытые, затейливые переходы в основании флигелей приведут вас в крошечные световые дворики, когда-то имевшие стеклянные крыши. Задерешь голову в таком дворике, чтобы заглянуть в синий квадратик неба, и в совершенно неожиданном, сюрреалистическом ракурсе возникнут над тобой окна кухонь, устроенных в глубине дома, но при этом получивших право на свою толику солнечных лучей.

Выйдешь из подворотни дома Кенига и прямо перед тобой, на противоположной стороне улицы, обозначится дом № 16 по Пятой линии. Когда-то в XVIII веке, на этом месте стоял одноэтажный в семь окон по фасаду домик физика Георга Вильгельма Рихмана. Здесь ставил он свои рискованные опыты, положившие в России начало исследования тайн электричества. Здесь и погиб он 26 июля 1753 года от разряда молнии.

А чуть более века спустя здесь же,– правда, это был уже другой дом,– снимал в первом этаже комнату студент Академии художеств Архип Куинджи, в гостях у которого часто засиживались до глубокой ночи студенты Илья Репин и Виктор Васнецов.

Тогда же здесь снимала одну из квартир для своей частной

гимназии учительница Эмма Шаффе, о которой я расскажу в следующей главе.

Но продолжим наше путешествие по Четвертой линии.

Четвертая линия, д, №9. Особняк П. Форостовского. 2005г.

Следующая наша остановка у дома № 9, который вошел в историю петербургской архитектуры, как особняк Павла Форостовского. Это – одно из лучших произведений талантливого

архитектора Карла Шмидта. Особняк был возведен в 1900—1901-х годах. К этому времени Шмидт был уже хорошо известен, как зодчий-модернист, построенными по его проектам затейливым особняком В. В. Тиса на Съезженской, 3 и шикарным зданием ювелирной фирмы К. Г. Фаберже на Большой Морской, 24. Собственно, Карл Фаберже и свел Павла Форостовского со Шмидтом. Фаберже находился с зодчим в родстве и настоятельно рекомендовал его главе транспортно-экспедиционной фирмы, который собирался построить себе на Четвертой линии что-нибудь «своеобразное и шикарное» в духе того времени.

Вообще участок, где должен был появиться особняк, с середины XVIII до середины XIX века принадлежал армянскому семейству Шаристановых, среди которых были купцы и священники. Только стечение обстоятельств помешало появлению именно здесь армянской церкви, и она обрела свое место на Невском, 40—42.

В 50-е годы XIX века участок этот с домом и садом перешел к дочери тайного советника Юдина. И тогда же, в семье снимавшего здесь квартиру генерала Трескина жил, в будущем известный литературный критик, Дмитрий Писарев – университетский товарищ генеральского сына. А позднее, в конце 70-х годов в доме Юдиной часто бывал Модест Мусоргский, исполнявший на фортепиано для хозяйских гостей, поклонников его таланта, свои сочинения…

Пройдет чуть более 20 лет и на месте бывших владений Юдиной вырастет новый прекрасный дом. Не известно сколь пышно праздновал новоселье его хозяин. Вообще Павел Форостовский был богат и жил, что называется, на широкую ногу. И уж во всяком случае, «обмывать» ему свой особняк должно было быть в радость. Ведь он получился, как и предсказывал Фаберже, действительно на загляденье.

Двухэтажный, с эффектными башенками, облицованный импортным желтоватым кирпичом – он сразу же был признан одним из самых заметных произведений раннего петербургского модерна не только на Васильевском острове, но и во всем городе.

Давайте перейдем с Четвертой на Пятую и встанем напротив особняка. Отсюда хорошо видны все достоинства этого сооружения. Оно кажется чрезвычайно легким и отличается изысканностью внешней отделки: цоколь – из красного гранита; из гранита же выполнены кронштейны балкона; а орнаментальные украшения над окнами – из майоликовой плитки и искусственного камня.

Окна особняка – разной величины. На улицу обращены окна парадных комнат второго этажа. В этих комнатах жили хозяева, а

первый этаж отводился под контору фирмы, куда можно было попасть через главный вход.

Под зданием находился,– да находится и сейчас,– просторный, высокий и сухой подвал, где хранились, привозимые сюда для дальнейших экспедиций, грузы. В подвал этот ведет широкий люк, пробитый под ведущей во двор особняка, аркой. Обычно около него в дневные часы собиралось в очередь множество подвод, а позже – и автомашин, готовых сгрузить или принять, чтобы вести дальше, очередную партию товаров из Великого Княжества Финляндского.

Но смолкал шум работ, рассеивался транспорт, наступал вечер и дом снова обретал обличие, дарованное ему главным замыслом архитектора: быть шикарным гнездышком для безбедной и комфортной жизни его владельцев. Зажигались желтые фонари над входом, подсвечивая кованую, украшенную растительным орнаментом ограду маленького палисадника, в котором благоухали цветы, оживали освещенные изнутри башенки, а из двора-сада, со стороны детского флигеля неслись звуки фортепиано.

Все это кончилось вскоре после Октябрьской революции. Бывший хозяин экспедиционной фирмы и особняка отправился с семьей в эмиграцию; перестало существовать Великое Княжество Финляндия; а талантливейший зодчий – модернист Карл Шмидт с 1920 года стал сооружать дома, подобные особняку Форостовского, в краю своих предков – Германии.

Особняк же долгое время переходил из рук в руки: от Союза рабочих водного транспорта – к клубу Союза водников, от водников – к клубу текстильщиков фабрик имени Желябова и Веры Слуцкой. Наконец в конце сороковых сюда въехали Василеостровские райкомы партии и комсомола.

Я побывал здесь лишь однажды – зимой 1948 года, когда мне вручали комсомольский билет. Совершенно не помню интерьеров особняка… Да и сохранились ли они за тридцать лет чехарды домосъемщиков? Не помню и лица комсомольского вождя, который поздравил меня и стандартно пожелал «Быть верным ленинцем»… Но навсегда запомнил, впервые в жизни увиденное мною,– чудо зимнего сада!.. Бродя по коридорам в ожидании «торжественного момента» превращения меня из рядового школьника в комсомольца, я случайно попал в одно из помещений второго этажа, в которое почти отвесно падали через стеклянную крышу солнечные лучи. Из огромных горшков и длинных ящиков зелеными кущами поднимались незнакомые мне могучие растения. Некоторые из них, невзирая на глубокую зиму, щедро цвели. И я чувствовал их аромат; и в жарком

оранжерейном воздухе слышал – или это казалось, что слышу – гудение мохнатых пчел… И я тогда, кажется, понял что еще существует красота жизни, столь не похожая на наш нищенский послевоенный быт…

В 60-е годы хозяйкой особняка стала детская поликлиника, в 70-е конструкторское бюро управления здравохранения, а в 90-е Управление дорожно-патрульной службы. А зимний сад Форостовского, кажется, жив до сих пор… Приглядитесь к стеклянному фонарю над ведущей во двор аркой… Или я ошибаюсь?.. По привычке пытаюсь выдать желаемое за действительность…

Четвертая линия, д, №15. Особняк Г. Боссе.

Еще один особняк – это Четвертая линия, 15 – безусловно привлечет Ваше внимание. Высотой всего лишь в один этаж он при этом не кажется низкорослым. Этот эффект создается за счет чрезмерно поднятых над тротуаром подвалов и огромных окон. Особняк построен по проекту выдающегося петербургского зодчего Гаральда Боссе в 1847—1849 годах в некогда модном

стиле архитектуры Ренессанса.

Выпускник Дрезденской и Дармштадской строительных школ, он появился в Петербурге в 1832 году, а уже через год двадцатилетний зодчий возвел здесь на Васильевском свой первый особняк – особняк С. Сиверса на 10-й линии. Всего за свою жизнь в Петербурге Боссе построил более тридцати особняков, многие из которых воистину являются произведениями искусства. Это, например, особняки: Кочубея на Конногвардейском бульваре, Барятинской и Бутурлиной на улице Чайковского, Гамбса на Большой Морской и наконец знаменитый, воспетый Некрасовым («Вот парадный подъезд…») особняк Пашкова на Литейном, 39.

Вообще множество особняков этого талантливого петербургского зодчего было перестроено, но те, что сохранились в первозданном виде, безусловно, не могут не радовать глаз. К таким творениям относится и дом № 15 по Четвертой линии.

Боссе строил его для себя и жил здесь с женой и двумя детьми где-то до 1854 года, пока не переехал в Адмиралтейскую часть.

Особняк устроен таким образом, чтобы скрывать от взоров прохожих свое истинное великолепие. Со стороны улицы его фасад достаточно скромен, но стоит зайти во двор, а точнее в бывший громадный сад, который когда-то находился за домом, и особняк из скромника превращается в шикарно одетого франта. Он словно вырастает в объемах, какие и не предполагаешь при взгляде на него с Четвертой линии. К громадной, обращенной на восток открытой итальянской террасе ведут два широких и нарядных пандуса. Кроме террасы садовый фасад украшен аркадами, балконами и эркерами. И здесь уже не один этаж, а местами – два и даже – три.

В особняке была музыкальная гостиная в три окна; за ней располагался громадный восьмиугольный зал, в котором музицировали,– а Боссе страстно любил музыку,– когда в гостиной не хватало места для приглашенных персон. В эркере, что выходит в сад, находилась мастерская самого зодчего. Здесь на огромном столе и стеллажах громоздились его чертежи и проекты. Здесь же стояли столы учеников. А надо сказать, что среди учеников Боссе были будущие известнейшие петербургские архитекторы: Фонтана, Андерсон, Гедике. Кстати, одну из комнат особняка долгие годы украшала акварель Роберта Гедике,– который был не только архитектором, но и прекрасным художником,– «Дворовый фасад особняка Боссе».

Рядом с мастерской находился кабинет архитектора и небольшой зимний сад. Были здесь и будуар жены, ее гостиная,

детская, комната для школьных занятий и библиотека.

Словом, особняк являл собой образец тщательно распланированных помещений очень удобных для жизни и творческой работы. А первое впечатление – помните – скромный одноэтажный дом в девять окон по фасаду…

После Боссе этим домом владел князь Голицын, затем бароны Остен-Сакены, которые сдавали его в 70-х годах XIX века семье князя М. С. Волконского. Самым знаменитым из этой семьи стал внук декабриста Волконского – Сергей Михайлович Волконский, впоследствии директор императорских театров, крупный российский искусствовед. Волконские специально перебрались сюда на Четвертую линию, поближе к Ларинской гимназии, в которой учился Сережа и его братья; и он, судя по его вышедшим уже в эмиграции воспоминаниям, был «бесконечно очарован» особняком Боссе.

Он подробно описывает сад особняка, террасу на которой любил проводить вечерние часы, вдыхая аромат сирени и любуясь таинством белой ночи над Василеостровскими линиями…

Отец Сергея Волконского являлся попечителем Василеостровского учебного округа, куда входил и Университет. В ту пору дом на Четвертой линии посещало множество университетских профессоров, среди которых особенно часто бывал, например, известный историк Всеволод Соловьев. Бывал здесь неоднократно и Федор Михайлович Достоевский…

В 1900 году особняк Боссе вновь перешел князьям Голицыным, которые и владели им до 1917 года. После революции и в начале 20-х годов дом был безхозным. Как пишет в своих воспоминаниях университетский химик Дмитрий Александрович Фридрихсон, живший тогда на Пятой линии, какое-то время в особняке обитал цыганский табор. Будучи мальчишкой, Дима на Андреевском рынке познакомился с цыганятами, участвовал в их забавах, а потом был приглашен своими новыми знакомыми в особняк Боссе, где они обитали с многочисленными родичами.

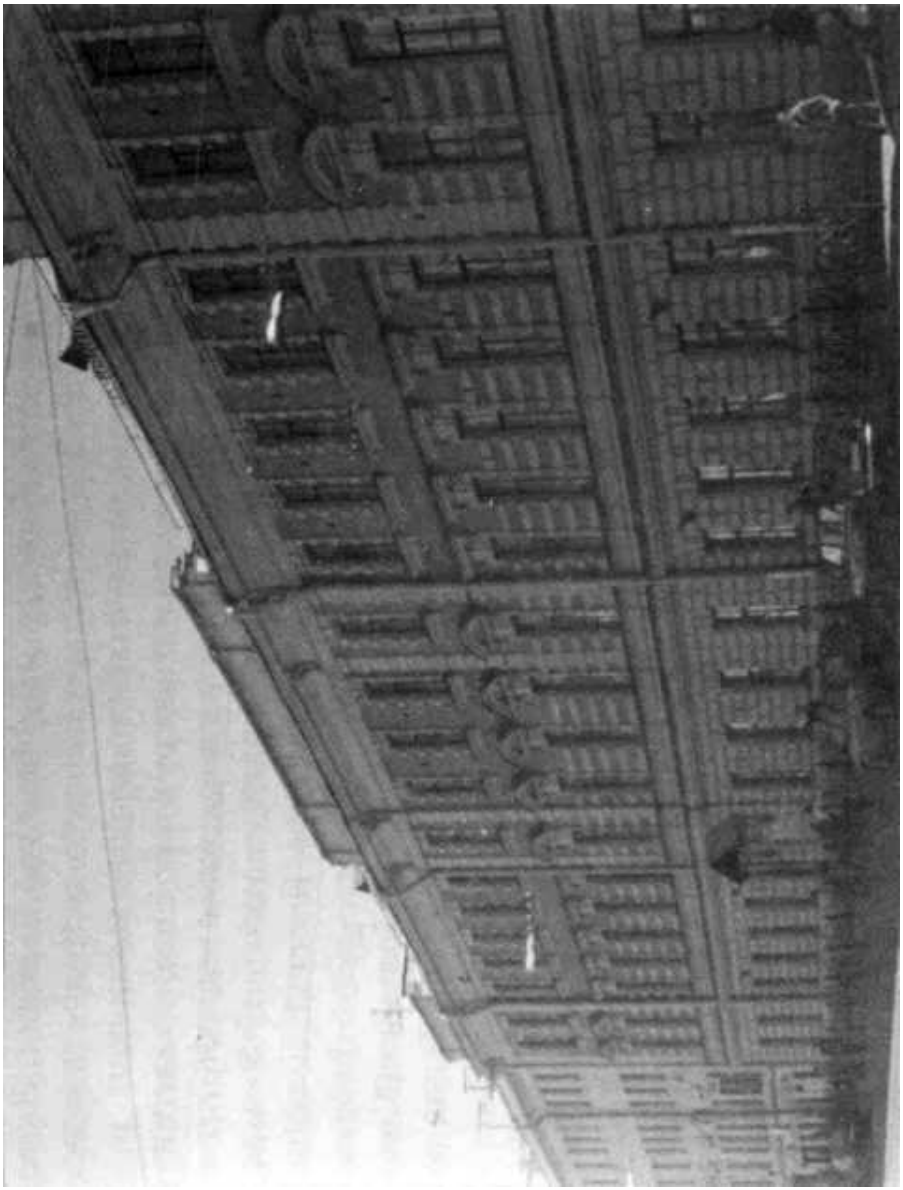
«В замечательном особняке с огромными окнами,– пишет Фридрихсон – на великолепном паркетном полу в круг сидели цыгане и цыганки. Цыганки пели, а мужчины подтягивали хором. Вина не было. Мы лежали у костра и гладили медведей, которые днем на Андреевском обходили народ с шапками в зубах, собирая награду за свои танцы…»

Потом особняк, сменяя друг друга, занимали: детская библиотека, областной театр юного зрителя, филиал завода «Спорт», учебный комбинат и, наконец,– это было уже в 1990-м – Камерный зал Ленинградской Академической капеллы, который

получил название «Концертный зал Боссе».

Я был там несколько раз и, как и многие коренные василеостровцы, радовался тому, что наконец-то на Васильевском появилось место, где в уютных интерьерах, при отличной акустике можно было послушать серьезную музыку. После концерта зрители заглядывали в сад особняка, чтобы полюбоваться изяществом восточного фасада здания. Днем под деревьями обычно гуляли воспитанники окрестных детсадов, а летними вечерами дышали воздухом пожилые островитяне…

Но спустя десять лет – уж не знаю за какие-такие особые заслуги – особняк Боссе был передан во владение Александру Розенбауму. Газеты тогда много писали об этом событии. Говорили о вседозволенности властей, приводили скандальные подробности обстоятельств, сопутствовавших этому «подарку». Потом все стихло. Якобы музыкант заявил о том, что собирается использовать особняк в благих целях: открыть в нем что-то вроде детской музыкальной школы.



Четвертая линия, д. 27 (Средний проспект, д. 20). Гимназия №24 им. И.А. Крылова. 2005 г.

Сейчас, когда я заканчиваю работу над третьим изданием «Прогулок», на дворе – 2005 год. Внешне особняк выглядит необитаемым. Но при этом строго охраняется вход в него, а на ворота, ведущие в сад навешен замок. Что ж, дай-то Бог, чтобы все разрешилось лучшим образом, и мои строки об очередных мытарствах особняка воспринимались бы читателями лишь как констатация его былой истории…

И еще об одном особняке на улице, по которой мы совершаем

прогулку. Его адрес – Пятая линия, 32. Он появился в 1899 году, когда модный в то время зодчий Василий Шауб перестроил и расширил, стоявшее здесь ранее одноэтажное здание. Это был заказ директора акционерного общества мануфактур «Воронин, Лютш и Чешер» М. Э. Бонштедта – человека весьма состоятельного, а потому желавшего жить в достаточно привлекательном доме.

Шауб постарался… Надстроив по центру второй этаж с элегантным эркером, полностью изменив фасад и соорудив высокие кровли с переломом, он придал дому облик французского особняка, достаточно редкий в петербургской архитектуре. После революции здесь был клуб трампарка имени Леонова, затем – клуб фабрики имени Желябова, а до конца 90-х годов – детская больница Северо-западного речного пароходства. Что находится в особняке сегодня, право, не знаю…

На Четвертой линии, 27 находится и одна из знаменитых на Васильевском острове школ. Это выходящая своим главным фасадом на Средний проспект гимназия № 24.

Начало ее истории восходит к 1895 году. Когда на территории огромного пустыря, который использовался, как дровяной двор, по заказу знаменитого петербургского купца Александра Григорьевича Елисеева, архитектором Александром Гаммерштедтом было возведено трехэтажное здание женской рукодельно-хозяйственной школы. Уже в начале XX века, кроме школы, А. Г. Елисеев на Четвертой и Пятой линиях владел и двумя доходными домами. Вообще Елисеевы давно обосновались на Васильевском. Еще отец Александра Григорьевича, Григорий Петрович, в 1862 году выстроил себе особняк на Биржевой линии и тогда же на Биржевом переулке, 4 появились гигантские склады торгового дома «Братья Елисеевы».

О богатстве и удивительной деловой хватке хозяев этого торгового дома в Петербурге ходили легенды. Его основателем был Петр Елисеев – бывший крепостной графа Шереметева. Все начиналось с небольшой, торговавшей винами, лавки у Полицейского моста. Но постепенно дело разрасталось. Наладились связи с Францией, откуда Петр Елисеев поставлял в Россию вина высочайшего качества. По стопам отца пошли его сыновья Григорий и Степан. А внуки Петра Елисеева уже имели для доставки вин и экзотических колониальных товаров свой быстроходный флот; для торговли ими – свои шикарные магазины в Петербурге, Москве и Киеве; свои заводы для переработки скоропортящихся продуктов.

Елисеевы были надежными купцами, всегда державшими свое слово. За это их уважали. Они имели множество российских

наград, а Алексей Григорьевич, например, являясь купцом I гильдни, был одновременно и коммерции советником и даже статским советником… В простом народе огромную популярность Елисеевым создала их обширная благотворительная деятельность. Они открывали дома призрения, богодельни, больницы для бедных, давали приют начинающим художникам, строили школы, а во время Первой мировой создавали частные лазареты для раненых.

Но вернемся к женской рукодельно-хозяйственной школе, до самой Октябрьской революции носившей имя Александра Павловича Елисеева. Школа эта действительно была его любимым детищем. Поначалу, еще до того, как было построено здание на Четвертой линии, 27, он разместил ее в своем доходном доме на Пятой линии, 2. Он присутствовал на торжественном открытии новой школы в 1895 году и вместе со своей женой вошел в ее попечительский совет. Школа существовала на капиталы Елисеева. Кроме средств, затраченных на ее строительство, он вложил в банк 100 тысяч рублей, с которых ежегодно отчислялись проценты на содержание учебного заведения.

По требованию Елисеева Гаммерштадт возводил здание с учетом всех новых веяний в строительстве. Огромные окна, просторные классы, широкие коридоры, актовый и спортивный залы, библиотека, просторный двор, мастерские – все это добрая память об Елисееве.

Кстати, расположенный во дворе корпус швейных мастерских, в которых девочки учились шитью, еще в 2005 году представлял собой жалкое зрелище. Мрачный, полуразрушенный, загаженный он вопиюще диссонировал с по-прежнему ухоженным зданием самой школы. Увы, мне не дано сегодня знать его дальнейшую судьбу…

А ведь в существовании этого корпуса как раз и заключался основной замысел елисеевской школы: научить девочек из бедного сословия хорошо зарабатывать себе на жизнь своими руками. Между прочим созданные ими во время занятий швейные изделия продавались. Часть вырученных денег шла в школьную казну, часть – делилась между ученицами.

Школа была двухклассная. Но в каждом классе учились по два года. Кроме занятий рукоделием, здесь преподавали литературу, основы математики, географии, истории. Первый выпуск (с учетом двух лет, проведенных в доходном доме Елисеева на Пятой линии) состоялся в 1897 году. А в 1913-м школа отмечала свое десятилетие. В праздничной речи школьный священник Павел Данилов сказал тогда: «Честь и слава тебе, наш

великан, колосс, стоящий на углу Четвертой линии и Среднего проспекта. Ты – наша альма-матер. И память о тебе будет вечно жить в сердцах тех, кому школа дала возможность честным образом зарабатывать насущный хлеб».

И сегодня стоит елисеевский «великан» на углу Четвертой линии и Среднего проспекта. Теперь это – гимназия. А в послевоенные годы здесь размещалась 24-я мужская средняя школа имени Ивана Андреевича Крылова. В отличии от «тридцатки»,– в которой учился я и где добрая четверть учеников была детдомовцами,– те, кто ходил в 24-ю были, что называется, и лицом почище и одеты поприличней. У нас говорили, что это от того, что в 24-й преподают латынь, готовят будущих интеллигентов. А мы называли «будущих» – сюничками. И при случае слегка поколачивали их.

Впрочем, я был хорошо знаком с одним из сюничек. В Василеостровском Доме пионеров мы с ним часто играли в одних и тех же шахматных турнирах, а, кроме того, я не раз сиживал с ним за доской у него дома. Квалификация у нас была тогда одинаковая: где-то на уровне 2-й категории.

Сережа – так звали моего знакомого – жил в доме №23 по Среднему проспекту, построенном в 1908 году архитектором Василием Шаубом. Добротный модерн, с изящным эркером, смотрящим как раз на 24-ю школу. В этом эркере мы и играли в шахматы. Он был полупустой в отличии от соседней огромной комнаты тесно заставленной по периметру старинной мебелью. Я помню длинный шкаф и книги, выглядывающие сквозь стекло своими золочеными корешками. Было в шкафу и полное собрание сочинений Брема. Предмет давних моих вожделений, после того, как я однажды получил для прочтения от своей тети, единственный имевшийся у нее том «Жизни животных».

Обычно мы играли до определенного часа. Но однажды завершили партию несколько раньше. Сережа сказал, что на сегодня хватит; а я, видя, что есть еще в запасе полчаса, попросил его дать мне полистать какой-нибудь из томов Брема. Кроличья с большими черными глазами мордочка Сережи выразила некоторое нетерпение. Он быстро вышел из эркера и тут же вернулся с книгой: «Листай скорей, а то родители обедать собираются…»

Как же я был потрясен, обнаружив, что это тот же том, который давала мне и моя тетя. Бывают ведь такие нелепые совпадения!.. Когда я вошел в комнату, чтобы сообщить, что этот том уже однажды прочитан мною, Сережа уже сидел за обеденным столом, и его мама разливала по тарелкам суп. «Ну, прочитан, значит прочитан», – как-то особо нажимая на слово

«прочитан», сказала Сережина мама и впереди меня направилась в прихожую: «Всего доброго, мальчик!..»

Я испытал тогда великую обиду: «Надо же выставили так, будто я к ним на обед напрашивался…». А ведь по сути дела – это я понимаю сегодня – то, что мне показалось однозначно грубым, было всего лишь эгоистичное желание сохранить устоявшийся порядок интеллигентной семьи, которому может помешать присутствие постороннего человека. Ну, да ладно – об этом… Во всяком случае, больше я в гостях у Сережи не бывал…

А вот в эркер шаубовского дома вглядывался неоднократно… Как-то я прочитал один рассказ. Не помню автора. От имени мальчика в нем шла речь о том, как во время блокады его родные меняли на хлеб и какие-то другие продукты, хранившиеся в семье еще с XIX века картины русских и зарубежных художников. Наконец, осталась всего лишь одна картина. Она являлась особенно ценной в домашней коллекции живописи. И даже не потому, что была написана замечательным английским художником Ульямом Тёрнером, а скорее потому, что с нею были связаны какие-то семейные предания. Картину сохраняли, что называется до последнего вздоха. И все-таки, когда этот последний блокадный вздох стал совсем близким, картину в обмен на мешок мерзлой картошки увез на саночках человек в меховых доспехах...

Сегодня я могу ошибаться в деталях и сюжетных поворотах этого очень давно прочитанного мною рассказа, но не в них суть. Уже спустя лет пятнадцать после окончания войны, проходя по четной стороне Среднего проспекта, ставший взрослым, бывший блокадный мальчик увидел в одном из окон эркера углового, выходящего на Пятую линию, дома знакомую с детства картину Тёрнера. На ней все так же в фантастическом сплетении ярких красок летел навстречу закатному солнцу парусный корабль…

Первым желанием рассказчика было подняться на соответствующий этаж и позвонить в соответствующую квартиру, чтобы хотя бы взглянуть в глаза нынешних владельцев картины. Но он подавил в себе это желание. В конце концов, ведь именно проданный – уж не так важно, за какую мизерную цену – Тёрнер спас его от голодной смерти. И какой по этому поводу можно предъявить счет, тем, кто совершал подобные сделки в теряющем силы городе?.. В конце концов, картина могла пропасть и после смерти, так и не нашедших, чем победить этот жуткий голод, людей.

С той поры, как я прочитал рассказ, в котором, конечно же, реальное было перемешано с придуманным, меня стало мучить навязчивое и необъяснимое любопытство: а есть ли,

действительно, в одной из квартир, которые на протяжении пяти этажей выходят в эркер, картина Тёрнера или какая-то другая картина, похожая на нее? Будто Тёрнер имел отношение ко мне лично, был частью моей судьбы… Во всяком случае, в течении года или даже двух, по случаю бывая на Среднем, я пристально вглядывался в окна шаубовского эркера. И в те, которые лишь чуть приоткрывали пространства небольших помещений, и в те, что вечно были закрыты шторами, и в те, которые подобно Сережиной квартире не таили за собой ровным счетом ничего… Все было тщетно… Постепенно любопытство умерло во мне. Но привычка мимоходом бросать взгляд на скрывающий некую тайну эркер сохранилась у меня до сих пор.

Кстати,– о Сереже… Я встретил его несколько лет назад в Соловьевском саду, куда зашел посидеть на скамье. На соседней скамье, видимо на «вылет», играли в шахматы человек пять бойцов пенсионного возраста. Трое стояли перед скамьей, в то время, как двое других сидели на ней за доской в пол-оборота по отношению ко мне. Я узнал Сережу. Почти сразу узнал, хотя и не видел его более полувека. Правда, его прежде кроличье личико стало походить на личину старого бобра. Одет он был крайне неопрятно и рука его долго дрожала над доской прежде, чем ухватить какую-либо из фигур. Сережа явно не вписался в перестройку, да и раньше по жизни, видать, ходил тяжело. Шучу, конечно, но сдается мне: не помогла ему школьная латынь, которая окончательно, как справедливо заметил еще Пушкин «… из моды вышла ныне…»

Но продолжим наше путешествие. Пятая линия, 42. Здесь еще в середине XIX века стоял унылый, деревянный дом. Но в 1851 году по заказу очередных владельцев участка – семьи графов Эссен-Стенбок-Ферморов архитектор Василий Морган возвел двухэтажное каменное здание с дворовыми флигелями для общественных бань. В 1882 году бани надстроили до четырех этажей. В этом обличий баня просуществовала до 1950-х годов, когда ее наконец-то полностью реконструировали.

Я помню эту баню в сороковые, послевоенные годы. Конечно, она не была столь облезлой и грязной, как описанная мною в предшествующей главке, Клименковская баня на Второй линии. По-своему популярная – не столь, правда, как, скажем, баня в Фонарном переулке – она собирала в своих парных и помывочных огромное количество василеостровцев. Требовалось часа два-три простоять в очереди прежде, чем добраться до шкафчика, в котором можно было оставить свою одежду.

Людей в помывочных набивалось, как сельдей в бочке. Надо было постоянно караулить свой тазик: на всех их

катастрофически не хватало. К кранам с горячей и холодной водой тоже была очередь. Все вокруг заволакивали клубы пара, сквозь которые едва пробивался из-под потолка свет маленьких электрических лампочек. Шум льющейся воды, звон тазов, голоса людей сливались в один неумолчный, тяжелый гул, похожий на гул огромной возмущенной толпы. Зато потом, после похожего на ад чистилища, когда помывка заканчивалась,– все подолгу сидели в предбанниках, наслаждаясь ощущением чистоты, наконец-то, хотя бы раз в неделю дарованной людям, жившим в коммуналках и почти повсеместно лишенных ванн и душа.

Мне иногда снится эта послевоенная баня. Во мне еще живут ее голоса, запахи, обжигающий тело жар. Это, пожалуй, одно из самых ярких и стойких воспоминаний моего детства…

На отрезке от Среднего до Малого проспектов Четвертую и Пятую линию стали застраивать каменными домами только во второй половине XIX века. И только в начале XX века линии приобрели сегодняшний архитектурный облик: здесь есть и массив шестиэтажных зданий, и дома в три-четыре этажа, и даже, стоящие рядом, пятиэтажные и двухэтажные постройки.

Всего от Среднего до Малого возведено 22 дома. Строились они по проектам архитекторов с французскими, итальянскими, но чаще всего немецкими фамилиями. Здесь оставили о себе память: Александр Бруни, Евгений Ферри де Пеньи, Август Жоффрио, Густав фон Голи, Александр Сивере, Иоганн Цим, Карл Лоренцен, Василий Шауб, Яков Гевирц, Константин Ниман. Подстать именам архитекторов были имена домовладельцев и хозяев, располагавшихся на этом отрезке улицы небольших предприятий: «Пуговичная фабрика братьев Бух», «Фортепианная фабрика Бека», «Словолитня „Герман Бертгольд"“.

Четвертая линия, д. №43. Архитектор Г. фон Голи. 2005 г.

Вообще-то Четвертая и Пятая линии, как, впрочем, Кадетская и Первая, Вторая и Третья были и по происхождению и по населению своему – немками. Это подтверждают и многочисленные газетные объявления XVIII, XIX и начала XX веков. Например, «Иноземец Томас Феленшбейн имеет намерение из Петербурга за море ехать. Кто имеет до него какое дело могут

искать его на Васильевском острову в доме иностранной коллегии переводчика Турчанинова». Или: «В Пятой линии, между Большой и Малой першпективами, в доме сидельника Штрауса у столяра Класса продаются большие столы, ломберные столы, стулья, комоды, канапе и многие другие вещи по вольную ценою». Или: «На Васильевском острову в Четвертой линии у шляпника Иоганна Питербуша продаются бобровые полы, пуховые и полупуховые шляпки по вольною ценою». Были, скажем, и такие несколько шокирующие объявления: «На Васильевском острову по Четвертой линии, в Иванчиковом доме у живущего в оном Темпеля, продается испытанный многими состав от клопов: пузырек с оным по одному рублю».

Кучное проживание немцев на Четвертой и Пятой линиях безусловно прибавило улице своеобразный колорит. Над здешними магазинами, булочными, цирюльнями, кухмистерскими зачастую крепились вывески на немецком языке. Здесь же предлагалось по случаю свадьбы или других торжеств сочинить стихи по-немецки. На линиях то и дело звучала немецкая речь…

Ну, а сами Четвертая и Пятая линии, за исключением трех особняков и некоторых домов, о которых я уже упоминал, архитектурным убранством своим особо не блещет. На отрезке от Среднего до Малого проспектов, например, есть не более пяти зданий, выделяющихся среди остальных. Это так называемый «еремеевский дом» по Пятой линии, 46, с его неоготическими кровлями, угловыми шпицами и облицованным красным кирпичей фасадом. Это и дом по Пятой линии, 50, построенный в 1911 году, по заказу одного из крупнейших петербургских коммерсантов М. А. Гинзбурга для еврейской богадельни, а также для собственной фондовой биржи и Еврейского общества поощрения художеств. По Четвертой линии на подходах к Малому выделяется дом № 43 – пятиэтажное, модернистское творение Густава фон Голи, где в начале XX века располагалась частная женская гимназия Могилянской, а в настоящее время находится Высшая школа милиции МВД РФ.

Вообще-то подходы к Малому проспекту до самого начала XX века считались глухоманью. По воспоминаниям Сергея Волконского он видел здесь дворника, который поливал улицу не из кишки, как обычно, а из чайника с отбитым носиком. Здесь же, по адресу Пятая линия, 54 сохранялась и сохраняется до сих пор, небогатая городская усадьба, каких много было на Васильевском в первой половине XIX века. Вглядитесь в симпатичный небольшой дом с классическим фасадом. Он имеет каменные ворота и калитку в глухой стене, за которой еще угадывается

некогда тенистый старинный сад. Кирпичный дом этот появился на свет Божий еще тогда, когда Четвертая и Пятая линии почти сплошь состояли из деревянных строений.

Удивительно, но строения эти остались здесь и по сию пору. Я имею в виду двухэтажное, барачного типа деревянное здание, выглядывающее в окружении каменных корпусов из-за ограды наркологического диспансера. Это дома № 58—60 на исходе Пятой линии.

Корпуса Наркологического диспансера на Пятой линии, д. №58-60. 2005г.

Здесь в сплошь деревянных домах в 1880-х годах доктор А. Я. Фрей основал клинику душевных болезней. Неопасные для окружающих пациенты Фрея, видимо, имели право время от времени покидать пределы клиники. Во всяком случае, тот же Волконский вспоминает о чудаковатом немце, появлявшемся в этих местах – на Пятой у Малого проспекта. Он ходил в высоком

цилиндре, из-под которого развивались седые кудри. Он вечно напевал или бормотал что-то. У него была трость. Но он не опирался ею о тротуар: трость вечно летала по воздуху, никогда не касаясь земли. Он шел вприскочку и укоризненно посматривал на хохочущих над ним мальчишек.

Наверное, это и был один из пациентов доктора Фрея… Потом уже другой, выстроенной в камне, клиникой владел врач психоневролог А. Э. Бари. После революции частную лечебницу преобразовали в городскую психиатрическую больницу, которая с 1924 года стала называться в честь видного психиатора больницей имени И. Н. Балинского, с 1973 года – имени И. П. Павлова, а с 1980-го здесь работает городской наркологический диспансер.

Специфическое лечебное заведение это хорошо известно на Васильевском острове. О нем сложено множество баек, иногда жутковатых, но чаще смешных. В свое время здесь лечились от алкогольной зависимости десятки талантливых людей. Им-то и принадлежит в основном авторство этих баек, в которых юмор всегда сильнее печали. А вообще-то о людях странных, неадекватных в своих поступках на Васильевском принято говорить: «Он, наверное, сбежал с Пятой линии…»

Среди душевнобольных пациентов клиники еще в конце XIX века были писатели Всеволод Гаршин и Глеб Успенский. В апреле 1910 года здесь скончался гениальный живописец Михаил Врубель. У постели умирающего неотлучно находилась его жена – солистка Панаевского театра Надежда Забела. Пытаясь хоть как-то облегчить страдания Врубеля, она тихо напевала ему арии из своего оперного репертуара. А перед самой смертью мужа спела любимую им колыбельную Волховы Римского-Корсакова, с которым художник был очень дружен. Он слушал со слезами на глазах. Затем поцеловал руку жены и затих уже навсегда…

Об этой истории мало кто знает, как и вообще-то мало знают о трагических и счастливых поворотах судеб знаменитых петербуржцев, живших некогда на этих слишком долго остававшихся захолустными, Четвертой и Пятой линиях. Здесь снимали квартиры и комнаты, обитали в студенческих общежитиях, имели собственные дома десятки горожан, которые преумножили научную, литературную, музыкальную и художественную славу России. Среди выдающихся ученых это – И.М. Сеченов, И.Я. Мар, А. Х. Востоков, Ф. Н. Чернышев. И. П. Павлов; среди прославленных писателей и поэтов – М. Е. Салтыков-Щедрин, Т. Г. Шевченко, Н. С. Гумилев, А. Н. Толстой, но особенно много здесь было талантливых живописцев и скульпторов: И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. М. Антокольский, Г.

И. Семирадский, В. И. Суриков, К. А. Савицкий, Г. Г. Мясоедов, А. Г. Венецианов, И. И. Шишкин, А. В. Маковский, Н. И. Альтман, Ф. И. Шубин, П. К. Клодт, И. Я. Гинзбург – всех не перечесть…

Когда я прохожу по Четвертой и Пятой линиям, то всякий раз про себя отмечаю, что дома здесь еще достаточно молоды по питерским меркам. Редко какому перевалило за 150 лет. Остальным в среднем – от ста до ста тридцати. Линии длинною в две с половиной человеческих жизни. Но скольким же событиям, скольким творческим озарениям были они свидетелями; какую могучую энергетику и великую память о свершившемся сохраняют они в себе.

Впрочем, тоже самое можно сказать и о других «начертанных рукой геометра», василеостровских линиях…

Василеостровские немцы
Прогулка седьмая

совершая ее, вы узнаете о немецкой слободе на Васильевском: о том, как образовалась она и как исчезла почти бесследно, о том, что в середине XIX века едва ли не каждый пятый василеостровец был по происхождению своему этническим немцем, о том, какая память о многочисленной колонии этой сохранилась по сей день.

Начну с цитаты из лесковских «Островитян»: «Жили Норки в небольшом деревянном доме на углу одной из ближайших линий и Большого проспекта, дома которого, как известно, имеют вдоль фасадов довольно густые и тенистые садики, делающие проспект едва ли не самой приятной улицей не только острова, но и всего Петербурга. В пяти окнах, выходивших на линию, у Норков помещался магазин и мастерская, в которой жил и работал с учениками Герман Верман. Жилые комнаты (которых счетом было четыре) все выходили окнами в густой садик по Большому проспекту…»

Это – о том, как, в основном, селились василеостровские немцы среднего достатка, вроде семейства вдовы Софьи Карловны Норк, оказавшегося в центре внимания автора «Островитян».

О самой Софье Карловне Лесковым сказано так: «…она знала свое дело еще при муже. Еще и ему она была серьезной помощницей. Не говоря о том, что она была хорошей женой, хозяйкой и матерью, она умела и продавать в магазине разные изделия токарного производства; понимала толк в работе настолько, что могла принимать всякие, относящиеся до токарного дела заказы, и мало этого – на окне их магазина, на большом белом листе шляпного картона было крупными, четкими буквами написано на русском и немецком языках: здесь починяют, чистят, а также и вновь обтягивают материей всякие, дождевые и летние зонтики. Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которым она занималась не по нужде какой крайней, а единственно по страстной любви своей к труду и из желания собственноручно положить хоть какую-

нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту в свою семейную корвану…».

Такими и были наши василеостровские немки: аккуратными, бережливыми, трудолюбивыми, прекрасными женами и прекрасными матерями.

Что касается дочерей Софьи Карловны, то, по словам Лескова, в них было на что любоваться. И, вообще, по убеждению автора «Островитян», «… если не гнаться за легкостью построения рук и ног, да не требовать от каждого лица особого выражения, то, едва ли, где-нибудь в Петербурге можно набрать столько свеженьких лиц, белых плеч и хороших бюстов, сколько увидим их, находясь между добрейшими василеостровскими островитянками немецкого происхождения».

И, наконец, – лаконичный портрет ремесленника Германа Вермана, что просиживал дни в слесарной мастерской Норков:«… был старик честнейший и добрейший, хороший мастер и хороший пьяница».

Пожалуй, кроме запойного пьянства, – все это главные черты немцев, где бы ни хозяйствовали они и где бы ни селились. Конечно, всякие бывают исключения из правил: у Бахтиарова мы встречаем в «Брюхе Петербурга» опустившегося немца-мусорщика, а барон Александр Раль, придворный банкир и «король Санкт-Петербургской биржи», как известно, разорился оттого, что будучи человеком талантливым, не имел интереса к мелочной бухгалтерии, то есть не владел теми достоинствами, которым, по словам вождя пролетарской революции, русскому человеку следовало бы «учиться у немца». Обычный рядовой немец добросовестно вел свое дело, поселившись в василеостровских линиях. Был он слесарем, медником, оловянником, сапожником, портным, пуговщиком, парикмахером, аптекарем, булочником или колбасником – не имеет значения. Его предки попали на Васильевский, перенесенные через Неву с Адмиралтейской стороны, как семена цветов, подхваченные ветром петровского замысла сотворить на острове центр Петербурга. Они держались друг друга. Как свидетельствует бытописатель Петербурга XIX века А. Башуцкий, лица среднего состояния, принадлежавшие к ядру иностранной общины, всегда выступали хранителями языка и традиций. Если приезжий – немец и ремесленник, «он записывается в свой немецкий цех; имеет старшинами немцев; берет в учение мальчиков немцев; покупает товар у немцев… прошло 10, 15 лет, он мастер или содержатель заведения, или учитель школы, или управитель дома, или фабрикант… он женат на немке; детей его принимала бабка немка; они воспитываются в его законе… и ходят в

немецкие школы… он преимущественно у немца покупает даже хлеб…».

Но при этом они раньше других открывали мастерские, свои вылизанные до блеска кухмистерские; до зари выпекали хлеб; их овощи, собранные здесь, на Васильевском, с немецких огородов, были безупречно притягательны для покупателей. Они жили так, как диктовало им генетическое начало. Они были добры и внимательны с теми, кто заглядывал в их мастерские и лавочки, аптеки и парикмахерские. Сюда всегда хотелось зайти и в другой раз. И это самая большая потеря для Васильевского – утрата немецкой аккуратности и обходительности в обслуживании.

Кроме Рождества и Пасхи, немцы, в том числе и василеостровские, дружно отмечали и праздники, привезенные их предками из «фатерланда». Был, например, такой праздник «Куллерберг». Отмечали его в ночь с 23 на 24 июня. Тысячи петербургских немцев-ремесленников собирались в эту ночь где-нибудь на природе. Василеостровские немцы, как правило, перебирались семьями через Тучков мост в ближайший к острову Петровский парк. Здесь всю ночь играла музыка, были танцы и пикники на траве.

А завершалось празднество неким языческим действом – прыжками через костры. На родной остров возвращались под утро, распевая фривольные песенки, похожие на ту, что запомнилась Лескову:

«Танцен дами,
стид откинув,
Кавалерен без затей,
Схватит девишка, обнимет
и дафай вертеться с ней».

Сколько же немцев жило на острове? В 1764 году профессор А. Л. Шлецер предложил учредить статистическую контору, которая бы среди прочих данных собирала сведения об этническом составе города. По его представлению на долю иностранцев приходилась 1/8 часть населения Петербурга 60-х годов XVIII века, где-то более 16 тысяч человек. Он не дает данных о составе немецкой колонии, но, так как она была самой многочисленной и сосредоточенной, в основном, на Васильевском, можно предположить, что одна пятая островитян были немцами. Сергей Шульц, автор многих публикаций по истории петербургских немцев, считает, что Васильевский в XVIII веке был немецким почти на одну треть, в XIX на одну четверть, – а перед Первой мировой его немецкая часть населения составляла

22 процента.

Но, наверное, имеет смысл не столько выяснять истинное процентное соотношение немцев и русских, сколько говорить о той инъекции знаний, практического опыта и интеллекта, которой подвергался Петербург, открыв свои двери для иностранцев и, в частности, для великого числа немцев. Объясняя свое расположение к ним, Петр любил говорить: «Я ласкаю и стараюсь удержать у себя иностранцев для того, чтобы они (русские. – В.Б.) от них научились и перенимали их науки и искусства, следовательно, для блага государственного и для очевидной пользы моих подданных».

Пытаясь создать на Васильевском центр города, Петр открывает здесь целый ряд государственных учреждений. На очереди была и Академия наук, но, открыли ее не на Васильевском, а на Петербургской стороне в доме бывшего вице-канцлера Шафирова. Затем Академию перевели на Стрелку острова, где она и размещалась поначалу в Кунсткамере и в бывшем дворце царицы Прасковьи Федоровны, а затем – в построенном к 1789 году Джакомо Кваренги монументальном трехэтажном здании, знакомом ныне каждому петербуржцу.

Первые годы своего существования Академия была составлена исключительно из иностранцев. Из 16 ее членов 14 были немцами, а возглавил Академию лейб-медик, доверенное лицо царской фамилии Лаврентий Блюментрост. При Анне Иоанновне преемниками его стали Г. Кейзерлинг и И. Корф. Елизавета Петровна, правда, дарует должность президента Академии восемнадцатилетнему брату своего морганатического супруга К. Разумовскому, но руководство Академией долгие годы продолжает осуществляться Канцелярией, во главе которой стоит И. Шумахер.

Известны перипетии борьбы, которая велась русскими членами Академии Андреем Нартовым и Михаилом Ломоносовым с всевластием Шумахера, а заодно и засилием немцев. Ломоносов был прав, требуя ускорить подготовку для Академии русских научных кадров. Но не следует, все-таки, подобно многим советским историкам, трактовать этот конфликт, как некое жесткое столкновение передовой русской науки и реакционной немецкой части Академии.

В книге Лидии Семеновой «Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век)» убедительно доказано, что тот же «реакционер», академик Г. Ф. Миллер, против которого, в частности, и выступал Ломоносов, был практически одним из родоначальников русской историографии. Его труды по истории Сибири – это огромный документальный материал, собранный

Миллером во время экспедиции в Сибирь. Он же «положил начало публикации важнейших источников по русской истории».

Среди ученых-немцев, приглашенных в Петербург и проживавших на Васильевском, было немало людей, действительно, выдающихся. Взять хотя бы академиков Л. Эйлера, А. Лексаля. Н. Фукса, Ф. Шуберта, подготовивших своими грудами почву для расцвета Петербургской математической школы.

Леонард Эйлер, приехав в Петербург совсем еще молодым человеком, развернул удивительную деятельность по изучению небесной механики и физики. Между прочим, приглашали его на медицинскую должность, и для этого он постигает тайны медицины и становится великолепным врачом. Его переманивает к себе в Германию Фридрих II, но при Екатерине Великой он возвращается в Петербург и трудится здесь на благо науки еще долгих 18 лет. Он был влюблен в Васильевский остров и даже написал о нем некую летопись, которая, к сожалению, так до сих пор и не увидела свет.

Но если отвлечься от Академии и вспомнить учрежденный на Васильевском в 1732 году Сухопутный кадетский корпус, то окажется, что и среди его преподавателей немцев, – а преподавание здесь первые 30 лет велось только на немецком языке, вторым языком считалась латынь, и только третьим русский – было немало замечательных людей.

Одним из них, например, был Фридрих фон Ангальт. Он происходил из императорского рода и приглашен был в Россию, как знаменитый полководец, которому передали в руководство Кадетский корпус. Кроме вкуса к военным наукам, – а он их знал блестяще, – Ангальт прививал кадетам и вкус к искусству. Стены парадных помещений корпуса были украшены при нем великолепными картинами. Что же касается рисунков и нравоучительных, несколько солдафонских подписей к ним на каменной стене, отделявшей кадетский сад от улицы, по поводу которых иронизировал живший по соседству Федор Шуберт, то пусть это остается его, Шуберта, личным восприятием жизни кадетов, так сказать, при наблюдении «извне». Сам же сухопутный шляхетский корпус при Ангальте прошел через блистательные годы своей истории.

Наверное, приводя подобные примеры, можно было бы поведать и о вкладе немцев в становление здесь, на Васильевском, Морского кадетского корпуса, Академии художеств, Университета, Горного института, в развитие уже во второй половине XIX иска целого ряда промышленных производств. Но все это, согласитесь, не осилить в короткой

прогулке.

Скажу лишь несколько слов об архитекторах, возводивших дома на Васильевском от Кадетской, ну, скажем, до 14-й линии. Оказывается, на 80 процентов они происхождением своим, фамилиями своими связаны с немецкой общиной.

Я перечислю лишь тех, кто строил, перестраивал и надстраивал дома на Кадетской и Первой линиях. Это Людвиг Бонштедт, Георг Цолликофер, Роберт Бергман, Николай Беккер, Христиан Мейер, Людвиг Шпеер, Андрей Пель, Эдуард Крюгер… Список не полный, но перейди я на другие линии, он увеличился бы во много раз, благодаря фамилиям одних только знаменитостей.

Они возводили новые и перекраивали старые дома, расширяли и надстраивали их по желанию владельцев. Но надо отдать должное: почти никогда не изменяло им чувство меры, вкуса и той особой немецкой аккуратности, благодаря которой любая работа выглядит чуть лучше, чем она есть на самом деле…

Всем хорошо известен завод имени Козицкого. Это Шестая линия, 61. Предприятие, внесшее свою лепту в развитие отечественного телевидения. А все начинал здесь в конце XIX века талантливый предприниматель, инженер-электротехник Эрнст Вернер фон Сименс, немец обликом своим чем-то напоминавший Марка Твена. Это он купил территорию на берегу Смоленки и нанял для строительства производственных корпусов двух гражданских инженеров – А. Гимпеля и Л. Серка. А уже в начале XX века здесь красовалось одно из крупнейших предприятий акционерного общества «Сименс и Гальске», производившее для России телефонное и телеграфное оборудование. Тогда же другие акционеры из «Сименс и Шукерт» осваивали за Московской заставой производство динамо-машин, продукцию будущей «Электросилы».

Впрочем, фирма «Сименс и Гальске» на Васильевском существовала еще с начала 50-х годов XIX века. В доме №34 по Первой линии В. Сименс и И. Гальске имели свою телеграфную мастерскую.

Память об этой мастерской жила долго. Еще в послевоенные годы во дворе этого дома, почти соседнего с моим родным, теснились какие-то низкорослые складские помещения. А на одном из них, помнится, проступали на фоне кирпичной стены имена их былых владельцев. Теперь уже ничего этого не осталось… Ушли навсегда с Васильевского и Сименс, и Гальске…

Но загляните в «Энциклопедию» – теперь их имена там! Во всяком случае, фамилия Сименс, давшая название знаменитой германской фирме по производству энергосилового и

электротехнического оборудования. В честь же самого Эрнста Вернера фон Сименса названа единица электрической проводимости.

Теперь – о школах, открытых немцами на Васильевском. По крайней мере, две из них – гимназии Мая и Шаффе – получили известность далеко за пределами Петербурга.

Карл Иванович Май, выпускник Петришуле и историко-филологического факультета Петербургского Университета, при поддержке нескольких немецких семей, принадлежавших к биржевому купечеству, в 1856 году обосновал маленькую частную школу в доме №60 по Первой линии острова. Тогда можно было открывать частные школы. Правительство разрешало делать это, полагая, что таким образом будит общественную инициативу в воспитании юношества.

Школа, поначалу, действительно была «зеер кляйне». В двух ее классах учились всего 30 учеников. Но пройдет пять лет и Май приобретет для своей школы здание по адресу Десятая линия, 13, где уже будут действовать частные гимназия, реальное училище, подготовительные классы и пансион. Здесь учебное заведение Карла Мая находилось до осени 1910 года, а затем переехало в новое, построенное специально для гимназии и реального училища архитектором Германом Гриммом здание на Четырнадцатой линии, 39.

К этому времени учиться в гимназии Мая давно уже стало престижным. «Майские жуки», как называли себя ее ученики, получали здесь прекрасное классическое образование и, как правило, поступали в Университет. Большое внимание уделялось здесь гуманитарным наукам и языкам. Причем, не только древним, но и современным. Выпускники гимназии знали, кроме немецкого, английский и французский.

Очень симпатична была позиция Карла Мая, как педагога. Определяя приоритеты образования и воспитания, на первое место он ставил воспитание. Май говорил, что надо вначале воспитать человека и гражданина, а уже потом подготовить его, как будущего специалиста. В гимназии преподавали историю искусства; уроки рисования вели преподаватели из Академии художеств; занимались гимнастикой и фехтованием. Летом «майские жуки» вместе со своими учителями отправлялись в дальние путешествия, в том числе и за границу. Кстати, учителя имели, как правило, свои научные труды по той или иной дисциплине.

Карлу Маю стремились отдать своих детей не только состоятельные члены немецкой общины, но и носители знаменитых княжеских и графских фамилий, государственные

чиновники, преподаватели высших учебных заведений, творческая интеллигенция. При этом не заказана была сюда дорога ни мещанам, ни купцам и даже – крестьянам. Были бы способности и деньги.

До 1890 года преподавание в гимназии почти всех предметов велось на немецком языке. Потом это было запрещено правительственным распоряжением, и сразу же несколько лучших учителей были вынуждены уйти из гимназии. Покинул ее и блестящий учитель древних языков Мальхин.

«Самым характерным для внешности Мальхина, – вспоминал Александр Бенуа, – была его недлинная, но густая огненного цвета борода, а также „злой“, пронизывающий взгляд его зеленых, искрящихся глаз…. Он не скрывал своего презрения к тупицам и бездарным зубрилам – хотя бы они отвечали на пять по заданному уроку. Некоторых же учеников он прямо ненавидел, одних за безнадежную глупость, других за лень и бездарность…»

В этом строгом, выполненном в стиле позднего модерна доме на Пятой линии так и не удалось побывать той, чье имя значится на фасаде…

Э. П. Шаффе, этническая немка, многие годы пестовавшая свою гимназию, добившаяся для нее статуса перворазрядного учебного заведения, умерла незадолго до того, как в 1907 году состоялось открытие нового корпуса гимназии Э. П. Шаффе.

А дом, где начиналась эта гимназия, он – рядом. Выглядывает

скромно с левой стороны фотоснимка. (Пятая линия, д. №16. Гимназия Э.П. Шаффе. После 1907 г. Фотограф неизвестен.).

Да, были, конечно же, в гимназии Мая и такие ученики, пребывание которых здесь обеспечивали не их способности, а родительский капитал. Но были и те, кто начинал неожиданно блистать, наперекор своему низкому происхождению. Так было со школьным приятелем Александра Бенуа – Гришей Калиным. В истории его поступления в гимназию есть что-то от святочного рассказа. Отец Гриши служил швейцаром в доме на углу Большого и Десятой линии, то есть в самом близком соседстве с гимназией. И вот однажды он выигрывает в лотерею огромную по тем временам сумму в 100.000 рублей. Первое, что он делает – это покупает дом, в котором холопствовал, а второе – определяет своего сына Гришу в гимназию Мая.

Правда, на этом святочная часть сюжета и заканчивается. На радостях отец и мать Гриши предались столь беспутной жизни, что вскоре умерли оба от белой горячки. К счастью, все доставшееся им богатство еще не было до конца промотано, и сын их, взятый под опеку, мог спокойно учиться в гимназии.

«Ничего, – пишет Александр Бенуа, – ни в наружности, ни в манерах, ни в мышлении не выдавало того, что Гриша принадлежит к разряду „выскочек из низов…“ Нравилось же нам в Калине то, что он отличался редким остроумием, что он отлично и самостоятельно изучил великое множество литературных произведений, как русских, так и в переводе иностранных. У него была исключительная память, и он знал бесконечную массу стихов наизусть… Влекли Калина к углубленному изучению литературы и личные творческие побуждения. Он обладал несомненным даром излагать свои мысли и серьезно готовился стать писателем».

Но судьба Гриши Калина, как, впрочем, и многих других выпускников гимназии, сложилась не так, как он того бы хотел… Писателем он не стал, а закончил юрфак. В последний раз, уже при большевиках, Александр Бенуа видел его в здании бывшей Городской думы, где он занимал какой-то начальнический пост по снабжению населения пищевыми продуктами. Помог он «отоварить» карточки и своему бывшему однокашнику. (Кстати, образ Гриши Катина в уже упоминавшейся мною книге «Другой Петербург» почему-то подается в несколько ином ключе).

Вообще о гимназии Мая написано предостаточно. Почти каждый из знаменитых выпускников оставил о ней хоть несколько строк воспоминаний. А знаменитостей среди бывших «майских жуков» было много. Это и Николай Рерих, и его сыновья Юрий и Святослав, и писатель Лев Успенский, и те же Александр Бенуа и

Константин Сомов, да всех и не перечесть.

В 1858 году, через два года после того, как начал свой эксперимент Карл Май, в доме № 14 на Пятой линии Эмилией Павловной Шаффе был открыт скромный частный пансион для девочек.

Эмилия Шаффе происходила из немецкой семьи. Ее дед приехал в Россию с герцогом Голштинским, будущим Петром III, и служил при Екатерине II в пограничных войсках. Отец был банковским чиновником, но после его неожиданной смерти 15-летняя Эмилия уходит из Петришуле, где была первой ученицей, и, чтобы помочь матери, начинает давать частные уроки. Она уже знает в совершенстве три языка, весьма начитанна, а приобретая педагогический опыт, начинает размышлять о смысле женского образования, как такового. Она полагает, что женщине отведена в обществе важная роль – быть воспитательницей следующих поколений, а для этого женщина должна быть хорошо образована, иметь обо всем свое независимое мнение, и проявлять самостоятельность в любых житейских ситуациях. «Девочкам нужно научиться, – напишет потом Эмилия Павловна, – рассуждать обо всем здраво и логически и сравняться с мужчинами в самостоятельности своих суждений».

Свой пансион Шаффе назвала «Maison d'Education», то есть «Дом образования». Но его с таким же правом можно было назвать и домом грядущей эмансипации. Поначалу здесь было всего четыре ученицы, через полгода добавилось еще десять. Она сама вела уроки в своей школе. Учебниками здесь практически не пользовались. Они нужны были, по словам Шаффе, лишь для того, чтобы «приучить детей живому обмену мыслями с преподавателем».

Много времени уделялось прогулкам по городу, знакомству с его музеями, памятниками; уроки географии проводились на берегах Петровского острова; ботанику изучали в Ботаническом саду; при занятиях арифметикой дети не только решали задачи, но и сами составляли их.

И все-таки школа Шаффе долгое время оставалась школой гуманитарной направленности. Из точных наук девочек обучали только арифметике. Так было везде. Даже в женских гимназиях в то время ни физики, ни алгебры, ни геометрии не преподавали. А Эмилия Павловна, между тем, все больше убеждалась в необходимости точных наук для гармоничного развития ингеллекта своих учениц, для возможности им в будущем избирать профессию наравне с мужчинами. И она вводит в своей женской школе курсы физики, алгебры и геометрии. Вводит первой в Петербурге.

Но при этом ее не покидают мысли о всестороннем воспитании детей. В 1866 году при школе открылся подготовительный класс для малышей, где был осуществлен, опять же впервые, опыт предметного обучения детей по картинкам. В те же годы стали популярными идеи Фребеля о дошкольном воспитании немецкого педагога. И Эмилия Павловна для детального знакомства с ними отправляет в Германию одну из своих бывших учениц, а затем открывает при школе детский сад. Кстати, это был один из первых детских садов Петербурга.

В 1869 году школа Шаффе получает статус перворазрядного учебного заведения. В 1882-м Эмилия Павловна обратилась в Министерство народного просвещения о преобразовании ее школы в гимназию. Просьба была удовлетворена, и с тех пор школа перестала быть частной. Что, в общем-то, доставило впоследствии Эмилии Павловне много тревог и душевных волнений. Уж очень ее раздражали казенные программы, предлагаемые гимназическим начальством. Она постоянно вносила в них свои поправки, как могла, отстаивала свою самобытность.

А, между тем, гимназия Шаффе становится одной из самых знаменитых женских гимназий Петербурга. Здесь учились дочери Менделеева (Любовь и Мария), педагога-математика Киселева, Бенуа, Авенариуса, Бема, Тизенгаузена и многих других известных горожан.

Эмилия Павловна, проработав почти полвека директором созданного ею учебного заведения, умерла в 1906-м, в год, когда рядом со старой «Школой знаний» было построено на Пятой линии архитектором Карлом Шмидтом новое здание гимназии.

… Стечение судьбы. До войны я ходил в детский сад при бывшей гимназии Шаффе, на углу Большого проспекта и Пятой линии. По-моему, он существует до сих пор. А тогда, в конце 30-х, во дворе дома, для наших детских развлечений стоял сбитый из фанеры, очень похожий на настоящий, самолет: тупорылый «ястребок» с красными звездами на крыльях и хвостовом оперении. В кабину к нему залезали по очереди. И потрясающей толщины и доброты наша воспитательница Софья Карловна всякий раз сообщала маршрут, по которому предстояло лететь каждому из нас. Мне чаще всего выпадало лететь на Северный полюс.

Мать с отцом почему-то были чрезвычайно счастливы, что я хожу именно в этот детсад. «Там чистота, там герани на окнах, распорядок четкий» – восхищалась мать. А дед, старый германофоб, которому положено было брать меня из детского сада, и куда он постоянно опаздывал и был не раз «воспитан»

Софьей Карловной, ворчал, не отрываясь от газеты, «Порядочек, анц-цвай-драй…!». Похоже, он знал, как я понимаю теперь, о немецком прошлом этого «очага». Но вообще-то «анц-цвай-драй» было у него чем-то вроде присказки, привезенной с Первой империалистической. И это были первые иностранные слова, которые я, однажды услышав, затем слышал ежедневно.

А на Васильевском к тому времени немецкая речь смолкла совсем. Хотя, как вспоминает Сергей Шульц, еще перед войной его возили по гостям, где все говорили по-немецки…

Здесь надо уточнить, что если в начале века, по выкладкам того же Шульца, немецкое население Васильевского составляло 22 процента, то уже к 1915 году немцев на острове, как и во всем городе, оставалось совсем немного. Тогда, после начала войны с Германией, по Петербургу прокатилась волна немецких погромов. Громили в основном фабрикантов и коммерсантов, но досталось и мастеровым, булочникам, аптекарям. Немцы тысячами покидали Петербург.

Но и в 20-е, и в 30-е годы оставались на острове немецкие семьи, сохранившие свою речь и традиции. Правда, при этом, повторяю, уже исчезли с улиц и из магазинов Васильевского привычные для XIX века: «Гутен морген», «Вас ист лос?» и «Данке шён». А потом началась Великая Отечественная. И питерские немцы второй раз чуть более, чем за четверть века, испытали на себе все неудобства великих противостояний России и Германии. Их выселяли, отправляли куда с глаз долой, проверяли и трясли многократно, но, когда во время ночных авианалетов с крыш и из окон верхних этажей над городом поднимались осветительные ракеты, НКВД с особой яростью принималось хватать оставшихся в Ленинграде этнических немцев, полагая, что у каждого, кто носит немецкую фамилию, обязательно должна быть и ракетница. Не будем отрицать, что случаи предательства были. И один такой «ракетчик» с гончаровской фамилией Штольц даже жил в нашем доме. Но число подобных случаев не идет ни в какое сравнение с работой диверсантов-осветителей, которые, пользуясь неразберихой нашего отступления, легко просачивались в город. Впервые я услышал на Васильевском немецкую речь в 45-м. Со мною заговорил пленный солдат, капрал или унтер, уж не знаю, кто он там был… Пленные восстанавливали на углу Соловьевского и Большого левый корпус лютеранской церкви Святой Екатерины. Он был разрушен попаданием бомбы еще в 41-м. Самой церкви – святыне василеостровских немцев – повезло. Бомба выбрала творение Вильгельма Лангвагена, предпочтя его творению Юрия Фельтена.

Пленных на стройку привозили под конвоем, но, как мне

кажется, стерегли не очень. Во всяком случае, этот солдат или капрал окликнул меня с уровня второго этажа, где он укладывал кирпич. Он знал по-русски несколько слов, а остальное говорил по-немецки, полагая, что я должен понять его. Я понял одно: он хочет поменять свою бляху на что-нибудь съестное. У него совершенно не было зубов, а лицо испещряли черные оспинки. Не знаю почему, но я вдруг согласился. В кармане был кусок белого хлеба от школьного дополнительного завтрака и я подкинул его; и тяжелая бляха с надписью «Gott mit uns» упала к моим ногам.

Бог был с нами. Святая Екатерина тому свидетель…

О том, что выменял я бляху на хлеб, в школе никому рассказывать не стал. Такой обмен считался напрасным. «Трофейку» следовало добыть на местах боев, у Вороньей горы или под Пушкиным. Вообще, ко всему немецкому относились мои сверстники тогда презрительно, если не сказать крепче – гадливо. Это я уже испытал на себе, когда кто-то исподтишка вылил мне на спину бутылку с чернилами. Тогда я пришел в школу в пиджаке, сшитом матерью из трофейного офицерского сукна, привезенного из Кенигсберга моим дядей. Больше я этого пиджака не надевал…

Немецкий язык нам стали преподавать с пятого класса. Вначале уроки вела ничем не запомнившаяся мне дама, а уже в седьмом появился Антон Гугович Ганзен. Настоящий питерский немец, кажется, и родом с Васильевского. Правда, сам он иногда намекал, чтобы легче ладить с нами, на свое норвежское происхождение. Немецкий, как, впрочем, и самих немцев, мы не любили. Считали, видимо, что язык побежденного врага изучать необязательно.

Не очень-то жаловали мы любовью и самого Антона Гуговича. Хотя был он человеком замечательным во многих отношениях. Блестяще знал свой предмет, имел железный характер и своеобразное чувство юмора. Но главным было то, что в каком-то лохматом, не то 1908-м, не то 1909 году, учитель наш прославился, как чемпион России по метанию копья. Невзирая на свой достаточно пожилой возраст, сохранил он спортивную выправку, помнил сотни спортивных рекордов и наивно полагал, что, пробудив в нас интерес к королеве спорта, он тем самым поможет и своему предмету пробиться к нашим сердцам.

Но сердца наши оставались черствы. Все старания нашего учителя с помощью графиков, расписанных на доске по-немецки, объяснить, почему Хейно Липп должен побить американского десятиборца Джонсона, успеха не имели. Нас Хейно Липп вообще не интересовал. Он был в глазах наших чем-то вроде птеродактиля, не имеющего никакого отношения к дворовому

футболу.

Самое страшное для нас наступало, когда «Гугыч» проводил диктанты по немецкому. Оценивая их, он был беспощаден. При этом еще и шутил на свой манер: «Ученик Филановский, я ставлю вам два с плюсом. Плюс за то, что я видел, как вы потели, когда писали диктант». Двойки и единицы с минусом сыпались направо и налево. Класс начинал гудеть (что-то неразборчивое, но похожее на «Гуга уев). А он стоял со своим извечным секундомером на груди (на его уроках полагалось заниматься три минуты зарядкой), крепкий, розовощекий, похожий лицом на побритого, конечно, апостола Петра из ниши в лютеранской церкви.

Святой он был человек – Антон Гугович Ганзен. Когда я неожиданно, уже в девятом классе хотел покинуть школу, он приходил к моей матери и, хотя не был нашим классным руководителем, втолковывал ей, что я способный юноша и что мне не стоит с бухты-барахты портить свою жизнь. Об этом его визите я узнал от матери многие годы спустя.

Когда пытаешься представить себе, как выглядели, чем дышали василеостровские немцы, всегда почему-то всплывает в памяти образ Антона Гуговича. Других немцев на острове я не застал.

Опоздал родиться. Они исчезли с лица Васильевского, так до конца и не ассимилировавшись с русским населением. Званные Петром Великим гости, точнее – их потомки, с обидой покинули город или были просто вытолканы взашей из-за общего стола.

Что напоминает о них сегодня на Васильевском? Крошечное количество немцев-эндемиков. Два храма, две школы, множество некогда построенных немцами зданий, несколько домов, где жили и где работали самые известные из них, такие, как Эйлер; несколько полуподвалов, где когда-то были расположены их мастерские; гостиницы, аптеки, кондитерские, булочные, имена владельцев которых – Венус, Бейтлер, Пель – иногда еще всплывают поплавками из реки забвения.

Осталось еще старое лютеранское кладбище. При входе на его территорию, сразу же за мостом через Смоленку, на беломраморном новоделе внушительных размеров золотыми буквами сказано, что укреплена сия доска здесь на ограде лютеранского кладбища «От благодарных работников „Пассажа“ 22 мая 1998 года», потому как «На этом кладбище похоронен основатель „Пассажа“ граф Яков Иванович Эссен-Стенбок-Фермор».

Конечно, достоин доброй памяти основатель «Пассажа», но ведь – как бы это сказать помягче, – достойны самой доброй

памяти и сотни других, спящих здесь вечным сном петербургских немцев. Они спят в ставшей родной для них земле – и другой граф, Федор Иванович Литке, и никому не известная немочка Мария Кнооп. Перед смертью все равны… Другое дело, что по-иному должно выглядеть само кладбище – общая обитель мертвых. Увы, несмотря на некоторые усилия, предпринимаемые современной немецкой общиной, здесь царит запустение, и видны следы вандализма. Но не хочется говорить об этом, едва ли не самом страшном для России пороке…

Лучше завершу я прогулку чем-то вроде мечты. Когда-то до Первой мировой Васильевский благодаря жившим здесь немцам слыл самым пивным районом Петербурга. Так почему бы не открыть здесь сегодня в память об этих великих любителях янтарного напитка дешевое и вместительное заведение, скажем, под названием «У васинского немца». Могли бы быть здесь и какие-то музейные экспонаты, и картинки быта тех времен украсили бы стены… И я, если еще буду жив, с удовольствием сдул бы пену с выполненной под немецкую старину кружки…

Там жили поэты… Прогулка восьмая.

совершив которую, читатель побывает на «Тучке», где однажды в начале XX века поселились Анна Ахматова и Николай Гумилев; узнает, как разыскивал Пушкин адрес Анны Керн; заглянет в «поэтическую обитель» Вадима Шефнера; а также вместе с автором этих строк проведет ночь в каморке под одной из лестниц дома, в котором останавливался у своего брата Осип Мандельштам.

Сколько поэтов жило на Васильевском? Не возьмусь сказать. Да, наверное, и никто не возьмется. Поэты бывают великие или большие, выдающиеся или всего лишь известные, гениальные или, что рангом пониже, – талантливые, а то и просто – способные, подававшие надежды, да так и не сбывшиеся как настоящие поэты.

Не счесть им числа, не перечесть имен. Но они жили здесь на Васильевском. И их эмоции, их наэлектризованные души до сих пор согревают стены домов или витают в вечерних сумерках, между выцветших линий.

Здесь обитали в разное время Василий Тредиаковский, Тарас Шевченко, Николай Некрасов, Александр Блок, Федор Сологуб. Велимир Хлебников да и многие другие их именитые собратья по поэтическому цеху. Но здесь же, повторяю, обитали и малоизвестные, а то и совсем безвестные стихотворцы трех петербургских столетий. Наверное, нет смысла вспоминать без надобности их имена, их строки, и тем более, их адреса, которые время стирает безжалостно и почти мгновенно, будто написаны они были мелом на школьной доске.

Впрочем, то же может происходить и с адресами поэтов великих и всеми любимых. По разным причинам, но происходит.

Например, о том, что с 1912 по 1914 годы в доме № 17 по Тучкову переулку жили Анна Ахматова и Николай Гумилев, я узнал значительно позже, чем о том, что здесь же жил известный живописец и график Евгений Лансере. Разные были у властей отношения к этим личностям. Одно дело – автор, прославляющий

Петра, творивший многочисленные исторические полотна, другое дело поэт – «контра», расстрелянный в 1921 году, и его находящаяся долгие годы в опале вдова.

А между тем, при внимательном чтении ахматовских стихов можно было угадать этот адрес:

«…Я тихая, веселая, жила
На низком острове, который словно плот,
Остановился в пышной, невской дельте
О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,
И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным,
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины.»

Конечно же, это – церковь Святой Великомученицы Екатерины, выходящая колокольней на Кадетскую линию, а алтарной стеной – в Тучков переулок.

Гумилев и Ахматова свое неказистое, но по-своему уютное жилье ласково называли «Тучкой». Они жили в квартире 29 дома №17. Это была одна комната окнами на переулок. Переулок выходил к Малой Неве, по которой сновали запряженные в барки с грузами маленькие, крикливые и чумазые буксиры. Тогда еще Тучкова набережная не была одета в гранит. Низкий левый берег полого спускался к реке. А берег правый зеленел кущами деревьев Петровского парка, отражался в воде таинственной громадой возведенных еще Ринальди складов Тучкова буяна, – которую Ахматова ошибочно принимала за дворец Бирона – и светился куполами собора Святого князя Владимира. Чудное это было место. Тихое, романтическое, как бы лежащее у истоков пути в дальние страны, путешествовать по которым так любил Николай Степанович. Он и вернулся недавно из очередного своего путешествия, на этот раз – в Италию. Вернулся с тем, чтобы продолжить обучение в Университете. Он поступал туда, на юридический факультет, в 1908 году, но вскоре покинул здание Петровских коллегий и уехал в Париж, в Сорбонну слушать лекции по французской литературе. Гумилев к тому времени уже был автором «Пути конквистадоров»; к печати готовились «Романтические цветы» и литература, естественно, привлекала молодого человека куда больше, чем занудная юриспруденция. Теперь он учится на историко-филологическом факультете. Кстати, и выбор снятой квартиры наверняка был связан с ее близостью к Университету. Вообще, «Тучка» занимает в судьбе

Гумилева особое место. Начнем с того, что это – первый самостоятельный адрес Гумилева в Петербурге; до этого он жил с родителями. Это первая его совместная квартира с Анной Ахматовой. Здесь 1 октября 1912 года родился их сын Левушка, впоследствии знаменитый историк Лев Николаевич Гумилев. Именно во время проживания здесь создавалось, теоретически обосновывалось новое направление в русской поэзии – акмеизм. В январе 1913-го в журнале «Аполлон» была опубликована статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», ставшая по сути манифестом акмеизма. Николай Степанович энергично сотрудничает тогда в «Аполлоне», ставшем, как и другой, принадлежавший «цеху поэтов» журнал «Гиперборей», – глашатаем акмеизма. Секретарь «Аполлона» Лозинский живет рядом, в Волховском переулке, и Гумилев часто бывает на его квартире, проводит вечера в спорах и чтении стихов.

В это же время Гумилев организует в университете кружок германской филологии, где читают лекции, делают доклады известные университетские профессора. Поэт, автор уже четырех стихотворных сборников, среди которых есть и «Чужое небо», – книга, переполненная экзотикой дальних стран, – тесно связан с Кунсткамерой, Музеем этнографии и антропологии, от которого он и отправляется весной 1913 года в свою четвертую африканскую экспедицию.

Сохранилась открытка (текст ее приводится во вступительной статье А.И. Павловского к сборнику стихов Н.С. Гумилева, изданному в большой серии «Библиотеки поэта»), посланная Гумилевым Анне Ахматовой из Одессы 4 апреля 1913 года: «…С нетерпением жду Африки».

В Музее этнографии будут выставлены экспедиционные «трофеи», которые поэт привезет из Абиссинии.

Вид с Тучкова моста на Тучков переулок и «Тучку» – дом, на котором до сих пор нет мемориальной доски.

«Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной рекой
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чуять запах родной и зловещий
Запах ладана, шерсти звериной и роз».

В том же году, когда они поселились на «Тучке», у Анны

Андреевны вышла первая книга стихов «Вечер». Уже заявившей о себе поэтессой, ходила она на сеансы в мастерскую Н. И. Альтмана, которая находилась здесь же рядом, на Тучковой набережной. Натан Альтман писал ее портрет. Теперь он хранится в Русском музее: помните, молодая Анна Ахматова в сине-желтых тонах...

«Я подходила к старому мосту
Там комната, похожая на клетку.
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
И жаловался весело и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым…»

Анна Андреевна уедет отсюда. А осенью 1913 года, оставив сына на попечение матери Гумилева, вернется сюда, на «Тучку», чтобы продолжать творить на «снежном и недлинном переулке». С «Тучки» проводит она Николая Степановича на театр военных действий Первой мировой войны. Он будет приезжать в отпуск и останавливаться на Васильевском, но уже не на «Тучке», а на Пятой линии, 10, в квартире Шилейко.

А в доме на Тучковом переулке он будет бывать уже после революции, когда вернется через Лондон и Скандинавию с Салоникского фронта, куда был послан переводчиком в русский экспедиционный корпус. Здесь квартировали университетские профессора, встречи с которыми были интересны для Гумилева…

…Последней его квартирой в Петрограде была квартира в доме №5 по Преображенской (ныне это улица Радищева).

3 августа 1921 года он был арестован по делу заговора Петроградской боевой организации, возглавляемой В. Н. Таганцевым. 1 сентября в печати появилось официальное сообщение о расстреле участников заговора. Теперь на этом доме мемориальная доска, установленная еще при жизни Льва Николаевича Гумилева.

Но нет, до сих пор нет памятной доски на доме № 17 в Тучковом переулке. Вообще-то, она устанавливалась здесь многократно в 1986-м, когда отмечалось столетие со дня рождения поэта. В ту весну переулок заполнялся молодежью, читавшей публично стихи Гумилева, требующей реабилитации

поэта и открытия в этом Доме Музея-квартиры Гумилева и Ахматовой. Доску, видимо, изготовляли на деньги митингующих. И она то появлялась на фасаде дома, то опять исчезала по велению не то районных, не то городских властей.

С той поры прошло много лет. Прекрасные стихи Гумилева Давно возвращены русской поэзии и всем, кто интересуется ею. Но что-то, видно, еще по-прежнему сдерживает тех, кто мог бы официально увековечить «Тучку»…

Пятая линия, д. 10. Здесь, в квартире Шилейко, останавливался Н.С. Гумилев. 2002 г.

А теперь вспомним еще одного «проклятого» поэта. «Проклятого» не в том смысле, что был он в одном ряду с Артюром Рембо и Шарлем Бодлером, а проклятого и

изничтоженного большевиками. Я имею в виду Осипа Мандельштама.

Короткое время, всего два месяца, начиная с декабря 1930 года жил он у своего брата Евгения Эмильевича в доме №31 по Восьмой линии.

Дом этот, элегантное порождение модерна, появился здесь в 1911 году и еще в 30-е щеголял среди соседних домов своей относительной молодостью и внутренним комфортом. Те, кто жил на Васильевском в послевоенные годы, помнят, что рядом с одной из его парадных висела металлическая под белой эмалью дощечка с надписью «Зубной врач-техник Шапиро Э.С.». Эсфирь Соломоновна была матерью моего, давно уже покойного одноклассника Володи. Я часто бывал у него в гостях, естественно, даже не подозревая о том, что в доме этом жил когда-то один из прекраснейших поэтов «серебряного века». Думаю, тогда и фамилии Мандельштам я еще не слышал.

Теперь имя Осипа Мандельштама и его знаменитые строки: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез» – запечатлены на мемориальной доске, появившейся на фасаде дома чуть ли не на том самом месте, где когда-то предлагал свои услуги скромный врач-техник.

Есть одна подробность, касающаяся расположения дома, о которой мне хотелось бы сказать. Я иногда задумываюсь теперь: знал ли о ней Осип Эмильевич? Дело в том, что напротив дома №31 по Восьмой стоит дом №24 по Девятой линии. Обыкновенный, доходный, многоквартирный…

Есть здесь и обширный двор. Если вы, пройдя через подворотню, попадете в него, то обратите внимание – сразу же, чуть левее от входа – стайка молодых деревьев у стены каменного не то сарая, не то гаража. Когда-то на этом месте стоял деревянный дом, в котором жила Анна Петровна Керн, та самая Анна, которая явилась Пушкину, «как гений чистой красоты».

В то время, когда она поселилась на Васильевском, ей было уже тридцать. Лучшие годы минули безвозвратно. Она еще сохраняла свою красоту, но уже не блистала в светских салонах. Уйдя от своего мужа, генерала Керна, который не дал развода и при этом отказался помогать ей, она оказалась в довольно сложном материальном положении. Распался и круг близких ей людей: умер Дельвиг, женился Пушкин… Вот разве что Михаил Глинка, влюбленный в ее дочь Екатерину, бывал здесь постоянно да изредка навещали поэт Дмитрий Веневитинов и сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева.

Бывал здесь и Александр Сергеевич.

Он приезжал на Васильевский, чтобы ободрить ее в трудную

минуту сразу же после смерти матери. Позже она вспоминала об этом: «… Пушкин приехал ко мне и, отыскивая квартиру мою, бегал, со свойственной ему живостью, по соседним дворам, пока, наконец, нашел меня… В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он был прежде».

Анна Петровна прожила в этом доме семь лет. Потом было вторичное замужество, другая квартира на Васильевском, и, наконец, уже в конце жизни – Торжок, где она и умерла в бедности на 79-м году жизни.

Повторяю, я не уверен, знал ли что-либо об этом отстоящем почти на век от него соседстве Осип Мандельштам, когда, приехав из Армении, поселился у своего брата в доме №31 по Восьмой линии.

Знаменитый поэт, подобно Керн, переживал тогда не лучшие для себя годы. Тучи сгущались над ним; и сам он, как утверждали люди близко его знавшие, испытывавший панический страх перед милиционерами и кожаными куртками комиссаров, метался по стране затравленным зверьком. Он бывал в Ленинграде наездами.

Что искал он в этом городе? Удачи, поддержки? На что надеялся? О чем сожалел? К кому обращал эти полные безысходности строки:

«… Петербург! У меня есть еще адреса,
По которым найду мертвецов голоса».

Он помнил их: и Александра Блока, которого боготворил, и своего соратника по «цеху поэтов», по журналам «Аполлон» и «Гиперборей», расстрелянного Николая Гумилева, и десятки других, канувших в «совдеповское» небытие, талантливых художников, философов, поэтов.

Дом №31 по Восьмой линии. Шикарное создание архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта. Дом вошел в историю, как один из петербургских адресов поэта Осипа Мандельштама. Короткое время, начиная с декабря 1930-го, он жил здесь у своего брата…

На снимке о той, теперь уже далекой эпохе напоминают раструбы громкоговорителей над подворотней дома. Вряд ли Осип Эмильевич когда-либо звучал по радио. А потому и писал вполне

справедливо:

«Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны»

…Особенно усиленные таким вот громкоговорителем… (Восьмая линия, д. №31. Фотограя неизвестен.).

Он писал, выезжал на выступления, встречался со знакомыми, шутил, привычно задирая голову, но ощущение нависшей угрозы не покидало его:

«Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных».

Здесь я сделаю небольшое отступление.

Однажды я ночевал под лестницей в этом доме, в маленькой, как у папы Карло каморке. Она, кажется, существует и по сей день. Стоит вам подняться с улицы на один лестничный марш – и тут же предстанет перед вами небольшая дверь и уже за ней ступеньки, ведущие вниз.

Там кто-то жил или, точнее, приходил на время. Это я определил уже утром по чайнику на плитке, сковородке, нескольким тарелкам, стаканам и вилкам. Впрочем, никаких съестных припасов здесь не было. Зато был еще матрас на ножках с синим треугольным клеймом по центру, покрытый старой, непонятного образца, шинелью. Под ней-то я и провел ночь, а затем, в ожидании, пока меня откроют, и часть утра.

Меня закрыл Э. Т., который, уходя, повернул ключ в дверях и уже с лестницы сообщил, что придет и откроет меня, когда я проснусь.

Накануне здесь, на Васильевском, мы несколько засиделись в одной компании, а на улице, расходясь, вдруг обнаружили, что метро давно не работает, идет дождь, мосты разведены, да если бы и свели их вдруг по нашему велению, то все равно денег на такси не было, а добираться надо ой-ей-ей куда: мне – на Кирочную, где я тогда обитал, а Э. Т. – в Московский район. Поразмыслив, Э. Т. сказал, что пойдет стучаться к одной своей знакомой в Волховской переулок, а меня может определить на

ночь в квартирке без номера и без особых удобств, которую якобы получил он на время для сердечных своих дел от одного человека.

Всю ночь я слышал, как хлещет дождь, и сквозь сон мне мерещились высокие, плачущие голоса, скрежет железа и шаги на лестнице. Потом к утру шаги усилились, и я сообразил, что они не галлюцинация, а реальность. Когда Э.Т. пришел, чтобы выпустить меня на волю, я поинтересовался, кому принадлежит это узилище: «вохрам», дворникам, дружинникам?

Э. Т. хмыкнул: «Еще скажи – „гостям дорогим…“. Забудь об этом. Пусть все останется между нами». Уже потом я сообразил, что пошутив насчет «гостей», он воспользовался строчкой Мандельштама.

Э. Т. был вообще весьма начитанным молодым человеком. Никто не помнил, как он втерся в нашу компанию, кто привел его к нам. Он представлялся, как инженер-электронщик. Но так как все мы в электронике были «не копенгагены», разговоров на темы его профессии никогда не было. Мы были большими болтунами. Иногда, впадая в раж, говорили лишнее о власть предержащих, нимало не заботясь, где это может аукнуться. Тогда, в начале 70-х, остаточным излучением еще срабатывала привычка болтать, как во времена «хрущевской оттепели».

Но кто-то, оказывается, «пас» компанию. Это стало окончательно ясным, когда у моих приятелей начались мелкие неприятности на службе. Кого-то не повысили в должности, хотя должны были повысить, кому-то вообще намекнули о его «профессиональном несоответствии».

А мне, например, после того, как я, по неизвестным причинам вычеркнутый из списка отправляющихся в Финляндию журналистов, стал искать «концы», наш тогдашний председатель радиокомитета А. П. Филиппов, в свойственной ему манере большими паузами разделять слова, сказал буквально следующее: «Виктор… перестань болтать … всякую чушь … с совершенно чужими тебе людьми…». Спасибо, конечно, за это откровение бывшему секретарю обкома. Видно, он хотел спасти меня от более серьезных неприятностей.

Сообща мы вычислили стукача. Долго рассказывать, как это делалось, но все сошлось на том, что «постукивал» электронщик Э. Т. Отношении не выясняли. Но он исчез из нашего поля зрения сразу же, как только сообразил, что мы поняли, кто он.

Все это, конечно, кажется малозначительным, даже ничтожным сегодня. Ничтожным в сопоставлении времен, о которых идет речь.

Мандельштам в декабре 1930 года и январе 1931-го, живший

в этом нарядном доме, построенном в год, когда началось его восхождение к славе, знал истинный ужас преследований и слежки. Осип Эмильевич написал здесь несколько прекрасных стихов и тот пронзительный стих, строчка из которого высечена теперь на мемориальной доске.

Он еще будет приезжать в Ленинград. В марте 1933-го здесь состоится его последнее публичное выступление. Осенью 1937-го здесь он последний раз встретится с Анной Ахматовой. Потом – арест и смерть в лагере под Владивостоком.

…Если пройти проходными дворами с Восьмой линии на Седьмую, то почти в створе домов, где жили Анна Керн и Осип Мандельштам, окажется и дом №17 по Шестой линии. Дом этот, правда еще до его перестройки, принадлежал семье знаменитой женщины – математика Софьи Васильевны Ковалевской. Его история чрезвычайно интересна и мы еще вернемся к ней чуть позже, когда будем гулять по этому заповедному уголку Васильевского. А сейчас остановимся у дома №17 с тем, чтобы вспомнить одного из старейших василеостровцев, прекрасного поэта Вадима Сергеевича Шефнера. Он жил в этом доме многие годы, до того, как уехал с Васильевского на Петроградскую. Здесь прошла его молодость:

«Мы старые островитяне
– В печальный и радостный час
Незримыми тянет сетями
Любимый Васильевский нас.
…Я вижу – лежит он на плане,
В грядущее запросто вхож, –
Как будто Петру марсиане
Подбросили этот чертеж.
Он прямоугольный и строгий
И пронумерованный весь, –
Никто не собьется с дороги,
Никто не заблудится здесь.
Не прячась от мира и ветра,
Легли от воды до воды,
Прямы, как мечта геометра,
Негнущихся улиц ряды».

Васильевский, даже не будучи названым, живет во множестве шефнеровских стихов. Я узнаю их – и эти тени сгоревших в войну домов на глухих брандмауэрах, рядом с которыми разбиты теперь скверы; и стены, хранящие на себе следы детских мячиков, брошенных полвека назад; флюгера, что вращаются на

островерхих башенках; булыжники, что спрятаны под асфальт; старые дома, предназначенные к сносу, и множество других примет родного острова.

Вадим Сергеевич хорошо знал Васильевский. Он помнил о нем такое, чего не найдешь ни в одном краеведческом труде. Причем воспоминания эти всегда наполнены метким юмором, удивительными подробностями быта и, конечно же, любовью к острову.

Давайте взглянем глазами Шефнера на Васильевский, каким он был в 20-е и 30-е годы. Вот что написал он, например, об островных набережных в своих заметках «Из записной книжки василеостровца» (журнал «Нева» № 7, 1995 год): «Мы, мальчишки, иногда купались в Неве – ныряли в нее у спуска возле Первой линии или у памятника Крузенштерну. Однако за это в милицию могли забрать, да и течение в Неве сильное, опасное для тех, кто плохо плавает. Поэтому куда чаще мы ходили купаться „на возморье“ (так почему-то мы все это слово произносили). Там, где Смоленка разделялась на несколько рукавчиков, вода была куда теплее, чем в Неве, а дно ближе, и течение медленнее, и никакая милиция не угрожала. Правда, на „возморье“ нам грозила некая мифическая опасность: говорили, что там, в воде „конский волос“ водится. Это таинственное существо может незаметно проникнуть к тебе под кожу, а через тридцать три дня оно до сердца твоего доберется – и капут тебе. В летнюю пору на набережной лейтенанта Шмидта людно было в те времена. Одни просто на прогулку туда приходили, другие – по делу. От пристани, что стояла недалеко от Восьмой линии, отваливали в Кронштадт и Петергоф черный „Тов. Аммерман“ и белые „Горлица“ и „Буревестник“ (тот, что в 1927 году погиб в Морском канале, столкнувшись с немецким пароходом „Грейда“). На этой же набережной находилась и „заграничная“ пристань; к ней раз или два в неделю причаливал нарядный белый „Прейсен“, ходивший в Прибалтику и Германию. К гранитной стенке чалились и небольшие грузовые суда и финские лайбы».

Боже мой, сколько же вкусных подробностей схвачено глазами поэта. Я еще вернусь к его воспоминаниям, а сейчас хочу лишь заметить, что четверть века, которые разделили юность Шефнера и моего поколения, внесли, конечно, некоторые коррективы в быт Васильевского, но что-то оставалось и неизменным.

Мы тоже говорили «на возморье», и я не раз встречал василеостровцев, произносивших это именно так. И легенда о «конском волосе» после войны тоже существовала. Хотя по нашим представлениям водился он в Ждановке и в несметном

количестве в маленьком и грязном озерке Петровского парка. А купались мы уже в других местах: у шаров на Стрелке или у железной, полузатопленной баржи на Малой Неве, против ринальдьевского Тучкова буяна.

Впрочем, и моим погодкам сегодня уже крепко за шестьдесят. Я это к тому, что пора бы и нам засвидетельствовать свое почтение перед будущим и рассказать ему, как и что было в наши молодые годы. Авось кому-нибудь и пригодится.

Хочу вспомнить об одном прекрасном поэте, с которым мы были дружны когда-то в ранней юности. Глеб Горбовский, а речь пойдет о нем, жил в 50-е и в начале 60-х годов на Девятой линии в доме № 6, некогда принадлежавшем Василеостровской женской гимназии. Дом этот, собственно, ничем неприметный, с узким двором и обступающими его флигелями, находится по соседству с нынешней таможней, прибравшей к рукам особняк Вадбольской, где был в наше время Василеостровский дом пионеров.

В те годы и сам Горбовский был в чем-то подобен «таможеннику» – художнику постимпрессионисту Андре Руссо, названному «таможенником» по своей основной профессии.

Без образования и специальной студии, где, как эмбрионы в колбе, выращиваются юные дарования, одинокий, фактически без средств к существованию, Глеб пытался ворваться в прилизанную литературу начала 50-х со всеми своими «закидонами», «наивом» и «непричесанностью». Это потом будут у него литературные няньки: Давид Дар и, чуть позже, Глеб Семенов. Но они, как мне кажется, имели дело уже с проклюнувшимся большим поэтом.

По нынешним меркам печатать Глеба можно было задолго до того, как появились его первые сборники. О чем, кстати, говорит и тот факт, что многие свои ранние стихи поэт нашел нужным опубликовать, уже будучи известным мастером.

После «Косых сучьев» и особенно «Тишины» к нему придет слава. Он станет кумиром питерской богемы и части той молодежи, которую принято было называть «сердитой» и которая пленялась его безудержным эпатажем.

Теперь, десятилетия спустя, это уже не тот Глеб. Стихи его, мудрые, прозрачные, как отбродившее вино, таят в себе легкую горечь опыта прожитой жизни. Хотя опыта, причем страшного, жестокого, порожденного войной, оккупацией, детской колонией, ему было не занимать и в свои семнадцать.

Не занимать ему было и данного от Бога таланта. Он был и весьма начитан, а когда хотел, проявлял повадки выходца из интеллигентной среды, недаром его отец и мать были учителями. А еще, после развода родителей и отъезда их из Питера в другие города, – он был единоличным обладателем тридцатиметровой

комнаты в коммунальной квартире, на кнопку звонка которой с величайшим удовольствием и давили мы все, знавшие его тогда.

«… Звонок неизвестность, звонок – это рок
Но я к нему сам выхожу на порог»

– писал юный Горбовский. Вообще, надо сказать, квартира в доме №6 по Девятой линии была прославлена у Глеба в стихах многократно. Ее мирок разглядывала «тучка в квадратике неба», ее пустыню наполняли «велосипедные трели», ее кухонный чад, «скворчание сковородок» рождало нестерпимое желание подкрепиться. «Женя жарит рыбу жерех, в желтом жире на плите» (цитирую по памяти, может быть, где и ошибаюсь). Соседке Жене, небольшого росточка, юркой женщине, повезло особо. Она стала героиней знаменитого глебовского пассажа:

«Я свою соседку изувечу,
Я свою соседку изобью,
Я ее в стихах увековечу,
Чуждую, но все-таки мою».

В комнате Глеба была большая печь белого кафеля с выступающим карнизом, на котором располагались рядышком бюстик Достоевского и граненый стакан с продолговатой ампулой. Гости должны были целовать Федора Михайловича в лысину, и им же сообщалось, между прочим, что кристаллы в ампуле – цианистый калий.

Из всего убранства комнаты помню книжный шкаф, который отгораживал лежбище поэта, продавленное кресло и небольшой туалетный столик с зеркалом, где стоял оставшийся видно еще от матери синий флакон духов «Огни Москвы». В шкафу было много редких и прекрасно изданных книг из библиотеки отца. Но количество их уменьшалось день ото дня, исчезая в мешке посещавшего Глеба книжного маклака по кличке Горелый – тоже одной из достопримечательностей Васильевского той поры. Надо было жить и чем-то расплачиваться за хоть какую-то «сытость».

Стихи здесь звучали почти непрерывно. За чтением собственных творений, как правило, следовало предложение послушать кого-нибудь из достойных; из шкафа извлекалась весьма потрепанная, но сохранившая еще благородство желтоватых пергаментных страниц «Антология Русской поэзии», и Глеб, открыв ее, начинал с любимого блоковского:

«За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой
Там жили поэты, – и каждый встречал
Другого надменной улыбкой…»

Иногда заводили патефон, и комната наполнялась голосами Карузо, Тито Гобби и Тито Скипа. Эту пластинку Глеб купил на толкучке и чрезвычайно гордился ею. Было, конечно, и дешевое «плодово-выгодное» вино. Не без этого…

Я, наверное, первым из 30-й школы, где мы тогда учились, переступил порог этой комнаты зимой 1950 года. Потом здесь перебывало много народу. Были люди случайные, пишущие и не пишущие стихи, приходили и те, кому суждено было войти в большую литературу, стать знаменитым.

Кажется, в 1957 году на дне рождения у Горбовского собралось десятка три молодых, пока что только еще пробующих свои силы поэтов и прозаиков. Пришли ребята из университетского ЛИТО – будущий американский профессор Лев Лившиц и поэт Михаил Еремин, еще кто-то… Из Горного был Леня Агеев, из « Голоса юности» – Алексей Емельянов (Ельянов); был Виктор Соснора; и, конечно, друзья-василеостровцы Саша Морев, Олежка Григорьев…

Все сидели на корточках вдоль стен огромной, лишенной мебели комнаты. У каждого был стакан. А вот пользовались ли закуской, и состоялась ли она вообще – не помню. Никто не догадался тогда сделать групповой снимок, которому не было бы цены годы спустя.

Глеб переезжал. Комната менялась на другую, гораздо меньших размеров, но в том же доме, где он и жил некоторое время со своей супругой Лидой Гладкой.

Много лет спустя, уже в 80-е годы, я случайно столкнулся на Среднем с Олежкой Григорьевым. Он внешне сильно постарел, но при этом сохранил какую-то милую детскость души; шутил в своей особой, легкой и искристой, только ему присущей манере. Стоя у одного из зашитых в глазурованную плитку модернистских домов то ли на углу Десятой, то ли Одиннадцатой линии, мы болтали с ним около получаса.

Олежка поинтересовался: встречаюсь ли я с Глебом – все-таки, можно сказать – друзья юности… Я ответил, что встречаюсь крайне редко, в основном, когда хоронят кого-нибудь из знаменитостей. Перебросимся одной-двумя фразами и опять «отбываем в даль» друг от друга на несколько лет. У меня своя, похожая на беличье колесо, работа, у Глеба – своя творческая

жизнь. При том, что «плодово-выгодное» уже давно не продают. Да и давно напрочь охладел Глеб Яковлевич не только к «плодово-выгодному», но и к любому алкогольному зелью. «Все верно, – согласился Григорьев, – хотя, как это у великих сказано: „Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь“. И засмеялся тихо так и, как мне показалось, печально и многозначительно.

А молодого Глеба я еще раз услышал, наверное, в 1996-м…

Валентин Горшков вел тогда на радио цикл «Исповедь шестидесятых» и пригласил в одну из передач поэта Бориса Тайгина или, точнее, Бориса Ивановича Павлинова, по ряду причин избравшего для себя в свое время псевдоним Тайгин. Это было далекое время зари «Самиздата». «Издательство» Тайгина именовалось «Бе-Та». Специализировалось оно, в основном, на выпуске в свет Божий непечатаемых или печатаемых весьма редко, больше пишущих в стол поэтов 50-60-х годов. Это были отстуканные на машинке и сброшюрованные маленькие книжицы, некоторые из них попадали и мне в руки; но с Тайгиным, хотя и был он василеостровцем, да и остается им по сию пору, я тогда лично знаком не был. Познакомились мы много позже… И много позже я по-настоящему оценил подвижническую роль этого человека, этого бессребренника, вызволявшего из глухого безвременья невостребованное, отринутое властями, откровение поэтических душ.

А кроме «Самиздата» была у Бориса Ивановича еще одна замечательная причуда: записывать на плохонький свой магнитофон безвестных в то время, да и не только безвестных поэтов. Так сказать, для истории… Вот с этими, сделанными тридцать с лишним лет назад магнитофонными записями, и пришел Тайгин к нам на радио. На иссохших пленках были Саша Морев, Костя Кузьминский; был Николай Рубцов и что, конечно же, потрясло меня особенно – был Глеб.

По-моему, он читал свою знаменитую «Квартиру номер шесть». Но я слабо следил за тем, что читалось. Я вслушивался в голос молодого Глеба, в его знакомую модуляцию, в своеобразную интонационную оркестровку стиха. И вся эта далекая, давно прожитая жизнь, возникла перед глазами… Ожили запахи и звуки. Прошли чередой лица некогда юных моих друзей… И защемило сердце. И проплыл перед глазами родной Васильевский…

От «Дома Академиков» до Андреевского собора
Прогулка девятая

Она начинается, у знаменитого «Дома Академиков» и приведет читателя к Андреевскому собору. На этом коротеньком маршруте вы сможете узнать о некоторых архитектурных особенностях одного из старейших в городе рынков: полюбопытствовать, насколько погрузилось в питерскую землю подворье Александро-Невской Лавры, заглянуть в аптеку Пеля и в бывшее Андреевское училище, где преподавал великий «бес» Сергей Нечаев, а также обнаружить, что участок, по которому мы прогуливаемся, чем-то схож с Бермудским треугольником.

Там, где Шестая и Седьмая линии приближаются к пересечению с Большим проспектом и на самом перекрестке по сию пору сохранился удивительный, заповедный уголок Петербурга, где жилые дома, общественные и культовые здания остались, благодаря реставраторам, почти такими, какими были они в XVIII веке. Причем некоторые из домов этих, судя по фасадам, относятся к первой половине века. Более того, тоже самое можно было бы утверждать и о многих соседних с ними зданиях. Стоит сбить с их стен толстенные слои штукатурки, открыть кирпичную кладку, оонажить подвальные перекрытия, и перед нами вдруг явится миру творение времен Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, а то и Петра Великого. Но нет пока на это ни средств, ни времени, ни сил…

Дом, от которого начнем мы это маленькое путешествие – дом №2 по Седьмой линии – тоже, в принципе, выходец из XVIII века. В духе классицизма он был перестроен лишь в 1808 году, предположительно по проекту Андриана Захарова. Дом этот знаком каждому василеостровцу, да и петербуржцу. И я не буду тратить времени на описание его внешности. Это так называемый «Дом Академиков». Здесь жили в разное время, буквально до

середины нынешнего века, знаменитые ученые. Их список огромен. Вряд ли где в мире есть еще один такой трехэтажный дом, на фасаде которого были бы размещены 29 памятных досок, посвященных его жильцам. Под одной крышей здесь обитали выдающийся математик и выдающийся ботаник, физик и зоолог, механик и лингвист, литературовед и палеонтолог. Вот только несколько имен знаменитостей. Это академики Остроградский, Чебышев, Ферсман, Карпинский, Вернадский, Якоби, Петров, Марр.

Есть здесь и доска, напоминающая о том, что с 1833 года по 1855 год в этом доме квартировал академик Анреас Иоганн Шегрен, выдающийся исследователь истории языка и культуры Финляндии и финно-угорских народов. Доска эта тоже выдающаяся. Она несколько превосходит размерами своих выполненных на один манер соседок и, видимо, установлена здесь недавно не без помощи благодарных Шегрену финнов.

Особо увековечена и жизнь в этом доме академика Ивана Петровича Павлова. В его квартире открыт мемориальный музей.

Кстати, по-моему, именно на стене этого здания, как и на здании, что на углу Первой линии и нечетной стороны Большого проспекта, находится памятная доска с указанием уровня воды в наводнение 1924 года. Поднимающаяся в Неве вода всегда в первую очередь обрушивалась на Васильевский. Именно здесь стоял когда-то смытый наводнением 1824 года домик Параши из «Медного всадника». Кроме того существуют десятки конкретных воспоминаний о том, в какую катастрофу повергло тогда Васильевский это стихийное бедствие.

Я был свидетелем ноябрьского наводнения 1955 года. В XX веке оно было одним из самых заметных после катастрофического в 1924-м. На филфаке, где я тогда учился, вода затопила гардероб в подвальном этаже; вода подступала почти к самому Соловьевскому саду; чуть западнее, вырвавшись из Невы, она потоками текла по Шестой и Седьмой линиям. Жутковатое, скажу я вам, это было зрелище!..

Но вернемся к домам на Шестой и Седьмой. Дом № 1 по Шестой линии был перестроен в XIX веке. Чем-то особым он не прославился.

Как, впрочем, и дома№3 и №5 по Шестой линии. Все это перестройки XIX-го века. Правда, дом №5 на углу Шестой и Академического переулка, пятиэтажный красавец с опоясывающим его изящным декором, наверняка обратит ваше внимание. Он появился здесь в 1902 году. Строили его по проекту Алексея Воробьева, архитектора, который был автором проекта еще одного дома, рядом, на Днепровском переулке (д. № 16).

Здесь в 30-х годах XIX века жил американский посол Д. Бьюкенен, писавший о том, что он «занял очень хороший дом на берегу Невы с прекрасным видом на эту величественную реку и корабли, входящие в этот изумительный город…». Вообще, об этих крошечных переулках вокруг Андреевского рынка – Бугском, Академическом, Днепровском, Волжском – следовало бы рассказать особо, и я посвящу им как-нибудь серию «Прогулок по Петербургу».

А теперь – о доме №7 по Шестой. Он вошел в историю острова своим расположенным во втором этаже трактиром «Золотой якорь». Трактир этот был любим многими, жившими на Васильевском художниками, студентами и преподавателями Академии художеств. Здесь всегда проходили торжества по случаю выпускного акта в Академии.

Знаменит трактир был и своей бильярдной, где царствовал Павел Петрович Чистяков – учитель Репина, Васнецова, Поленова, Серова и Врубеля.

В годы НЭПа под рестораном в полуподвал забилась пивнушка, которую василеостровцы почему-то называли «Поддувалом».

Недалеко от «Золотого якоря», в доме №22, на углу Большого проспекта, как вспоминает Вадим Шефнер, «…был ресторанчик „Олень“. Это о нем пели:

«На углу стоит „Олень“
Заходи кому не лень –
Выпьем кружечку пивца,
Ламца-дрица, гоп-ца-ца!».

Ну и, прежде чем перейти непосредственно к рассказу о «заповедном уголке», хочу упомянуть еще о хорошо известной василеостровцам аптеке Пеля. Это возведенное на Седьмой линии и стиле модерн здание – работа архитекторов Зигфрида Леви и Константина Нимана. Собственно, это два дома – №16 и №18 объединенные между собой. Квартиры здесь сдавались внаем, а хозяин дома Александр Васильевич Пель имел здесь шикарную для 1910 года аптеку и химическую лабораторию.

Андреевский рынок пока без крыши, так как еще идет ремонт и дом Пеля еще с крышей так как до пожара еще три года. 2002 г.

Еще в начале 2005 года по истертым ступеням можно было подняться на второй этаж и открыть дверь в торговый зал аптеки. Прекрасный цветной кафель, покрывающий полы зала, был местами вытерт. Особенно у кассы и прилавков с медикаментами. Что ж, тысячи и тысячи горожан прошли по этим плиткам за минувшие девяносто лет.

Бывал здесь частенько и Дмитрий Иванович Менделеев. Правда, приходил не за лекарствами, а чтобы поговорить, поспорить, обменяться соображениями со своим другом, знаменитым в ту пору фармацевтом Пелем. Он, действительно, был знаменитым. Одно то, что он первым в России, а по некоторым сведениям и первым в мире, стал применять стеклянные ампулы с растворами лекарств, наверное, многое говорит об этом провизоре. Я держал в руках такую ампулу, сохраненную в аптеке еще с дореволюционных времен. Показывали мне и небольшой флакончик с препаратом «Спермин Пеля». Вокруг этого препарата когда-то шла рекламная кампания почище, чем вокруг нынешней «Виагры». Но, увы, так на деле он и не помог страждущим. Зато помогли от различных недугов десятки других лекарств, разработанных Пелем и применяющихся, кстати, по сию пору.

В торговом зале аптеки долгие годы был небольшой музей, который однажды посетила, приехавшая из Германии, правнучка Александра Васильевича Пеля. В высоких шкафах красного дерева хранилась аптечная посуда конца XIX – начала XX веков, фаянсовые и фарфоровые банки для хранения лекарств, емкости из олова. Музей существовал, как народный: кто что подарит. Но он был ограблен в том же роковом 2005 году, когда горели верхние этажи аптечного здания. Его дальнейшая судьба пока неизвестна…

Но обратимся все-таки к началу XVIII века. О первых его десятилетиях напоминает нам дом №12 по Седьмой линии. Правда, лет 35 назад он выглядел иначе. Фасад, который выходит сегодня на Седьмую, вернула дому районный архитектор инспекции охраны памятников Ванда Андреевна Бутми. Вернула лицо, скрытое многие и многие десятилетия под толстенным слоем штукатурки.

Дом в 1964 году уходил на капитальный ремонт и Ванда Андреевна обратила внимание на некоторые сохранившиеся детали его срубленного перестройками декора, на линии обводов пилястр, наличников. Перед ней, несомненно, был один из домов образцового проекта «для зело именитых», который предложил в 1716 году строителям Петербурга Жан-Батист Леблон, и, удивительно, он сохранился здесь еще с тех времен, когда при Петре Великом застраивался участок линии, отведенный для подворья Александро-Невской лавры!..

Сегодня со стороны кажется, что дверной проем при входе в дом слишком высок. На самом деле когда-то дверь была расположена выше, и к ней вело высокое, характерное для Петровской эпохи крыльцо. Дом строился на погребах и такое

крыльцо, как и высота погребов, были рассчитаны на возможные наводнения. Крыльцо это восстановить не удалось, да и сам дом, покрытый современной штукатуркой, все-таки более походит на макет, правда, в натуральную величину, того подворья, которое было здесь когда-то. При этом следует учесть, что за прошедшие 280 лет культурный слой поглотил дом на глубину около полутора метров.

За аптекой Пеля и сразу же за кривым коленом Днепровского переулка стоит еще один «посланник» XVIII века – дом бывшего Андреевского училища. Он был построен в екатерининскую эпоху тоже по типовому проекту, разработанному уже архитектором Федором Волковым. Был такой архитектор, возводивший здесь, на острове, здание Морского кадетского корпуса; после смерти Потемкина он же достраивал Таврический дворец, и ограда дворца со стороны Шпалерной тоже выполнена по его проекту.

Дом, построенный Волковым для Андреевского училища, – в два этажа с фасадом «о семи окнах». Прекрасен у дома фронтон и удивительно соразмерны по высоте этажи. Соразмерны не только эстетически, но и по тем функциям, которые они выполняли. Второй этаж, где размещались классы для учащихся, – выше, в его помещениях больше света и воздуха.

Внизу жили учителя этого четырехклассного училища. А среди учителей были, правда, в разное время, две личности, о которых следовало бы сказать особо.

Во-первых, в начале века здесь преподавал арифметику Федор Кузьмич Сологуб – знаменитый автор «Мелкого беса». В своих воспоминаниях Зинаида Гиппиус даже зрительно воспроизводит этот якобы «деревянный дом», где была однажды, но уже, наверняка, не найдет его «в отдаленных линиях». Здесь, правда, наблюдается у Гиппиус некая аберрация памяти. И связано это, видимо, с тем, что два дома – этот, где жил Сологуб, и другой – из повести В. Титова «Уединенный домик на Васильевском», которая издавалась тогда под редакцией Сологуба, слились у нее воедино. Во всяком случае, дом №20 по Седьмой, одной из центральных линий острова, был всегда каменным.

Был таковым он и когда в нем в 60-е годы XIX века жил и преподавал Закон Божий (данные В. В. Герасимова, занимавшегося историей этого дома) автор «Катехизиса революционера», великий бес Сергей Геннадиевич Нечаев.

Самое удивительное, говорил мне Владимир Васильевич, что адрес этого супер-революционера был занесен в адресный справочник. Обычно какие-нибудь там террористы-народовольцы жили нелегально, а этот, пожалуйста: учитель, Седьмая линия,

20.

Напротив подворья Александре-Невской лавры, аптеки Пеля и Андреевского училища, от Бугского переулка до Большого проспекта, во всю длину и ширину квартала расположился Андреевский рынок.

Когда он возник здесь впервые? Вообще-то, предтечей Андреевского многие историки города считают рынок Румянцевский, что шумел еще в 1710-х годах на берегу Невы, на месте нынешнего Румянцевского сквера.

Позднее, когда стали строить набережную, рынок прикрыли. С 1733 года находился он за Пятнадцатой линией, недалеко от Большого в незастроенной местности, и назывался «Полянка». А уж оттуда на нынешнее место его перенесли в 1748 году. Купцы построили для него деревянные, похожие на амбары здания, которые, конечно же, не украшали проспект. Судьбе, однако, было угодно, чтобы неказистый, но уже получивший по стоящему напротив него собору название Андреевский, рынок этот в 1763 году сгорел.

Следующую страницу своей биографии он открыл уже в каменном обличии. Построенные в 1790 году, его корпуса хорошо различимы за Андреевским собором на рисунке Кваренги конца XVIII века. Рынок был поменьше, чем сегодня. Со стороны Большого проспекта его длинное двухэтажное здание с галереями тянулось от Волжского переулка (тогда переулок этот еще соединялся с Бугским) до Шестой линии, и продолжалось вдоль нее.

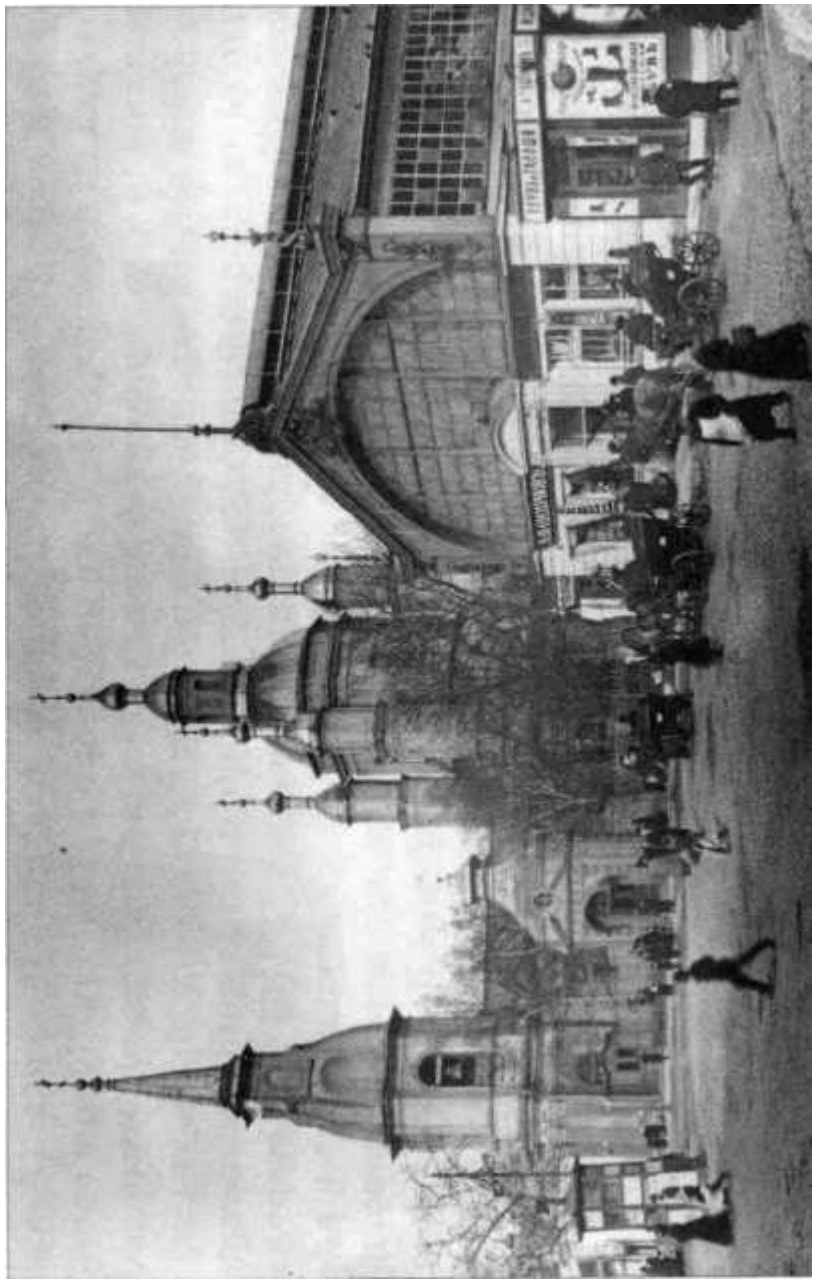
Рынок был единственным на острове, и здесь торговали чем придется; картина прилавков была более чем пестрая. Вот что говорится по этому поводу в «Географическом словаре», изданном на рубеже XVIII и XIX веков: «Сия постройка несколько поразительна. Тут можно найти муку, крупу, всякие съестные припасы, масло, деготь, смолу, материи, табакерки, ленты, веревки, лошадиную сбрую, старый и новый домашний скарб, свечи, фаянсовую посуду, простые горшки и прочее».

Оставался таким Андреевский и в 20-е годы прошлого века: там и одежду можно было приобрести в магазинах, и посуду, а уж о продуктах и говорить нечего. Там, по свидетельству все того же Вадима Шефнера, во дворе даже живых гусей продавали.

Теперь, что касается архитектора рынка. Он неизвестен. Каменные рынки в конце XVIII века строились и в других местах города. Кроме Андреевского, сохранились по сию пору Никольский рынок и Круглый на Мойке. Время их появления в Петербурге приблизительно совпадаете годом рождения Андреевского. Но справочники указывают лишь архитектора

Круглого рынка. Он был построен Джакомо Кваренги. У Никольского и Андреевского архитекторов не значится. Вполне возможно, что и к их сооружению приложил каким-то образом руку великий Джакомо.

Здание Андреевского рынка, несмотря на многочисленные реконструкции, в основном сохранило свой первоначальный облик, здесь уцелели даже сводчатые перекрытия, полностью утраченные в Никольском рынке.



Ясно, что название рынка на Васильевском идет от стоящего напротив него храма. Построенный в 1748 году, рынок младше бывшей здесь некогда деревянной Андреевской церкви на 16 лет., но старше нынешнего каменного Андреевского собора почти на 30.

Все сказанное, впрочем, не имеет никакого отношения к рыночному корпусу, который вы видите на фотографии. Корпус этот построен по проекту П. Ю. Сюзора в 1891 году и простоял на бульваре у стен старинного рынка до 1950 года. Потом корпус

снесли, а на его месте разбили сквер. (1913 г. Фотограф К. Булла.).

А арочные галереи Андреевского?.. Сегодня, когда вы входите под их своды, особенно в той части, которая примыкает с Шестой к Бугскому переулку, возникает полная иллюзия попадания в Петербург двухсотлетней давности. Особенно, если это ранний утренний час, и еще не оглашает окрестности рев проносящихся мимо рынка машин; еще пустынно под сводами и вы одни в этой таинственной галерее, прямо напротив подворья Александро-Невской лавры.

Тому, что сохранен этот своеобразный уголок питерской старины, мы во многом обязаны все той же Ванде Андреевне Бутми. Это ей удалось в 60-е добиться музеефикации столь выразительного фрагмента старого рынка.

Трехсотлетию учреждения высшей российской награды – Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного – посвящен этот обелиск на углу Шестой линии и Большого проспекта. 2002 г.

А у меня лично с Андреевским рынком связана еще и память о войне, довоенном и послевоенном времени…

Во время самого жестокого налета фашистской авиации на город, 24 апреля 1942 года, на углу Пятой линии и Большого проспекта упало несколько фугасных бомб. Они полностью уничтожили дом №13 по Большому и превратили в руины

восточную часть Андреевского рынка.

Я помню эти руины зимой 44-го, сразу же после моего возвращения из эвакуации. Это была огромная, ничем не огражденная, заснеженная гора, из которой торчали куски железных балок и каких-то искореженных конструкций. Гора простиралась на полквартала. Где-то со стороны линии, ближе к тротуару, пацаны из окрестных домов приспособили один из склонов для катания на лыжах и санях. Каким же крошечным пупырышком казалась мне, после спусков по этому склону, наша традиционная детская горка на углу Четвертой и Большого. Потом здесь построили новый корпус, столь непохожий на ту часть старого рынка, которой повезло избежать гибели.

Я люблю бывать на Андреевском. Просто так, даже ничего не покупая. Далекие воспоминания подступают ко мне в круговерти рынка; и я вижу себя шкетом, держащимся за материнскую руку, и мягкий профиль матери, склоненный над овощами, которые она купила или еще собирается купить. До войны мы всегда покупали здесь овощи.

Чаще всего я обхожу рынок со стороны Шестой. Сворачиваю в Бугский переулок и там вхожу под арку в створ бывшего Волжского переулка. Из внутреннего двора рынка теперь, прямо перед собой, над низким и длинным рыночным зданием я вижу, в удивительном, быть может, самом прекрасном из всех возможных ракурсе пять куполов и стройную колокольню Андреевского собора.

Недавно я обнаружил еще одну замечательную точку, с которой собор предстает в совершенно неожиданном облике. Это проходной двор дома №22 по Седьмой, где когда-то до революции находился торговый дом Степановых. Собор, точнее его кресты над луковками, срезанными крышей, очень эффектно смотрятся отсюда на фоне глухого брандмауэра.

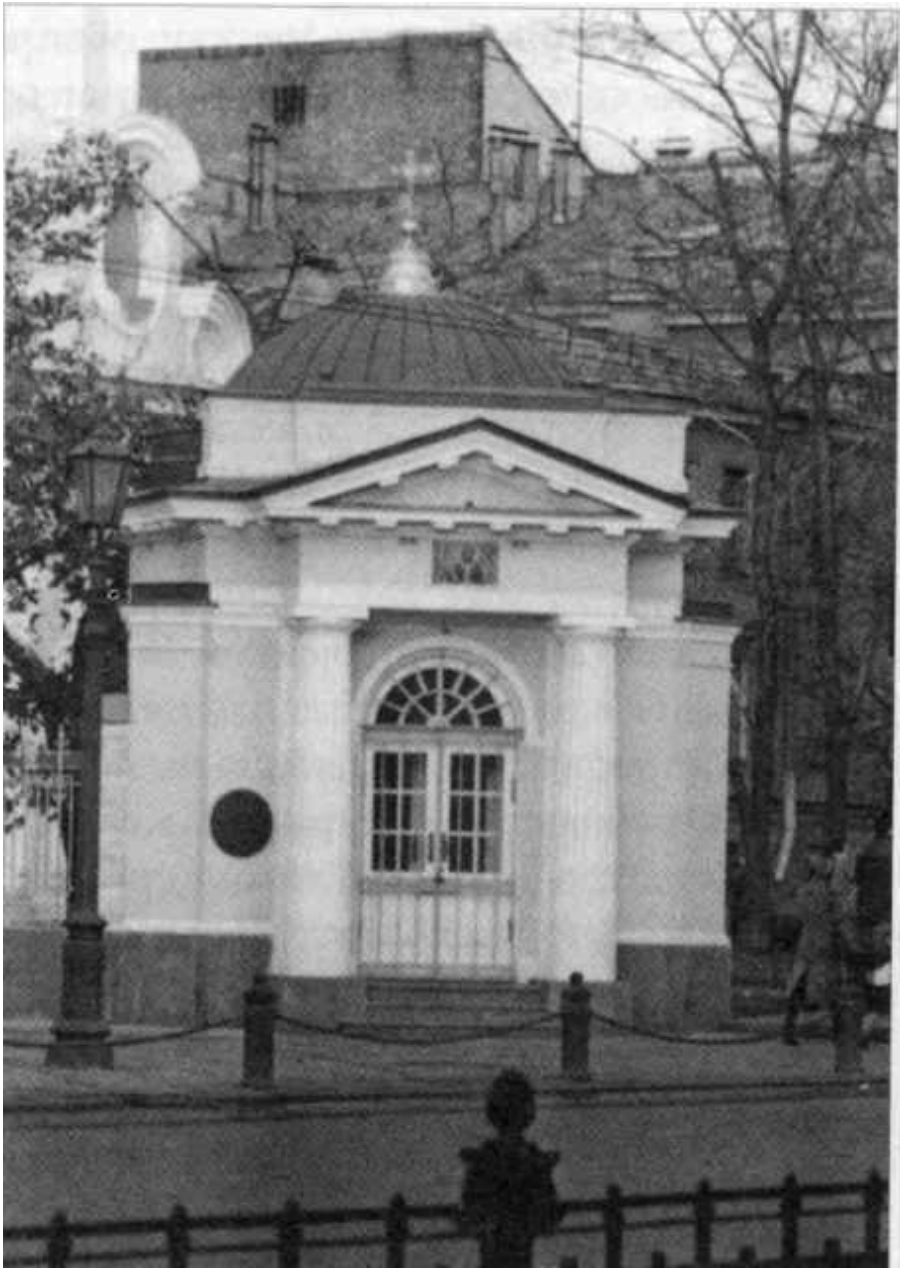
Но, кажется, нам пора подойти и к самому собору.

Если встать к собору лицом со стороны Седьмой линии, то слева от него окажется небольшое, похожее на обычный рядовой дом, здание церкви Трех Святителей. Это редкий для Петербурга случай, когда два храма находятся рядом. А, между тем, где-нибудь в Суздале – это обычная вещь. Церкви ставились с таким расчетом, чтобы одна из них, деревянная, холодная была летней, а в каменной, теплой, по соседству, могли бы справлять службу зимой.

Первой оделась здесь в камень церковь Трех Святителей. Было это в 1760 году, почти за тридцать лет до того, как каменным стал и Андреевский собор.

С 1732 года он находился здесь же, на том самом месте,

рубленный из бревен, одноэтажный, с маленькой звонницей под четырехгранным, обитым белой жестью шпилем. К слову, тогда этот храм еще не был собором, а был всего лишь временной церковью, на месте той прекрасной и обширной, что предполагалась в планах нарядной застройки Васильевского. Собором, правда, по-прежнему деревянным, храм станет лишь в 1744 году. В 1761 году он сгорит дотла от попадания молнии и появится вновь уже в каменном наряде в 1790 году.



Недавно рядом с церковью Трех Святителей и Андреевским собором воздвигнута была в честь Святого князя Владимира и эта прекрасная часовенка. 2002 г.

Архитектором церкви Трех Святителей и деревянного Андреевского храма многие историки города, не без основания, называют Джузеппе Трезини. Во всяком случае сохранились документы, что он был причастен к их постройке.

К церквям этим прилегал в то время спрятанный за ограду

погост; тесное соседство храмов как нельзя лучше соответствовало российской традиции иметь на кладбищах летнюю и зимнюю церкви. Хоронить здесь перестали по особому Указу, касающемся всех приходских церквей, только в конце XVIII века.

А теперь вспомним об ударе молнии, которая спалила Андреевскую церковь. Вообще какой-то рок висит над этой окрестностью. И не худо было бы проверить ее с помощью экстрасенсов на предмет наличия здесь опасной геопатогенной зоны…

Во время строительства каменного Андреевского собора летом 1766 года неожиданно обрушился его купол. Известный гравер того времени Михаил Махаев так упоминает в одном из своих писем об том событии: «Купол возведен был даже до сводов и нарочито не мал, но 6 августа по утру с превеликим треском не на сторону, но перпендикулярно внутрь церкви, обвалился».

Кстати, треск сей «превеликий» мог услышать и сам строитель собора архитектор Александр Вист, благо жил он неподалеку на одной из линий Васильевского. Виста арестовали. Началось разбирательство, в результате которого выяснилось, что виной всему были плохие строительные материалы, подсунутые подрядчиками архитектору.

Судить Виста не стали, но завершал строительство собора уже не он, а молодой архитектор Иванов. И с той поры фортуна как бы отвернулась от Виста. Нет, он продолжал строить. И строил много. Но не было ему уже тех похвал, к которым привык он ранее. Постепенно Виста стали забывать. И, наконец, забыли окончательно. Даже год его смерти остался неизвестным.

Мой хороший знакомый, василеостровский всевед, автор книги «Мой Васильевский» Мурад Мамедов, обратил внимание на некоторое сходство судьбы Александра Виста с судьбой другого архитектора – Антонио Порто. По проектам Порто строились здания Военно-медицинской академии и Санкт-Петербургского монетного двора в Петропавловской крепости. Начал строить он в 1808 году и на Васильевском. Здесь в квартале от Андреевского собора, на углу Девятой линии и Большого проспекта Порто возводил особняк для португальского консула Педро Лопеса.

Лопес был не только консул, но и виноторговец. Впоследствии обширные подвалы этого дома были превращены им в винные погреба. А затем, когда дом этот перешел во владение Академии наук и в нем была открыта типография Академии, в погребах стали храниться бесценные типографские шрифты для набора книг на великом множестве языков мира, в том числе и на древних, исчезнувших языках.

Но вернемся к Антонио Порто. Почему-то случилось так, что авторство дома №28 на углу Девятой и Большого, где и по сию пору пребывает типография Академии, историками города долгое время приписывалось известному архитектору А. А. Михайлову 2-ому. Правда, в справочниках всякий раз после этой фамилии ставился маленький вопросительный знак: дескать, на счет авторства есть некоторые сомнения.

А знаток архитектурной старины нашего города В. Курбатов добавил к этому вопросительному знаку еще один, сообщив о легенде, по которой строитель особняка Лопеса покончил жизнь самоубийством. Но кто это был? Ведь доподлинно известно, что Михайлов 2-й умер своей смертью.

Все точки над «i» в этих вопросах расставил историк Петербурга Анатолий Иванов. Вот что сообщил он в публикации «Роковая оплошность» («Санкт-Петербургские ведомости, 22 ноября 1997 г.): „В № 52 „Санкт-Петербургских ведомостей“ за 1808 год я натолкнулся на такую заметку: „От С.-Петербургского Военного Губернатора объявление, Сего июня с 17-го на 18 число в 11 часу ночи у Португальского купца Лопеса в производимом строении обрушился свод, и хотя на сей раз приключение сие никому вреда не причинило, но ясно обнаруживает незнание ремесла того, кому производство того строения вверено было. А как по исследованию о том открылось, что производил то строение архитектор Надворный советник Порто и, следовательно, он и единый виновник в том. Дабы упредить последствие подобных случаев,… обязанным себя считаю, то происшествие и имя виновника его архитектора Порто сделать для общей осторожности известным. Подлинное подписано: князь Лобанов-Ростовский“. Далее Анатолий Иванов приходит к выводу: «Обнаруженное объявление придает печальной легенде правдоподобие и вероятность: публичный удар по репутации заслуженного мастера, допустившего роковую ошибку, и вправду мог привести к трагической развязке. Во всяком случае после 1809 года имя Антонио Порто нигде не упоминается“.

Вот такая история, из которой проясняется еще один момент: Доделывать особняк Лопеса вплоть до его завершения в 1810 году мог действительно Михайлов 2-й, кстати, много строивший здесь, на Васильевском.

Но, как я уже заметил, история эта подтверждает и некую закономерность. Почему именно здесь, вблизи Андреевского собора, как в «Бермудском треугольнике», свершаются большие и малые катастрофы? В собор попадает молния, и он сгорает дотла, через пять лет обваливается внутрь его купол, еще через 42 года падает свод в особняке Лопеса. А дерево, которое летом 1999 года

рухнуло напротив собора, унеся жизнь маленькой девочки? А несколько фугасок во время войны, упавших почти в одну точку рядом с собором? И не есть ли дьявольский промысел внедрение Нечаева в педагоги Андреевского училища и хранение при большевиках костей из Кунсткамеры под сводами собора?

Но это так: фантазии и не более…

Если же применительно к собору говорить о реальностях сегодняшнего дня, то они, безусловно, радуют. Летом 2002 года собор впервые за многие годы покрасили. И теперь он, как белое, чуть подожженное солнцем облако, величаво плывет над Васильевским.

Чуть раньше по соседству с Андреевским появилась, венчающая угол ограды, часовенка. При входе в нее на бронзовой доске сказано: «Часовня эта построена силами и средствами Балтийской строительной компании. Освящена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром в честь Святого Благоверного Великого князя Киевского Владимира…». Теперь на Шестой – целая череда культовых сооружений: церковь Трех Святителей, Андреевский собор и часовенка Святого князя Владимира. Что ж, прекрасно это!

Воздвигнут рядом с собором на скрещении Большого проспекта с Шестой и Седьмой линиями и памятный обелиск в честь 300-летия учреждения Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, высшей государственной награды России. На обелиске высечена выдержка из Указа Петра I об учреждении этого ордена: «Первому нашему христианскому наставнику и Апостолу Российской земли воздвигнуть тем более именитую память для поздних наших потомков».

А собор, он, воистину, божественно прекрасен. Одухотворенный, легкий, таящий очарование петровского барокко и пришедшей на смену ему еще молодой, еще не набившей оскомину класики, и еще чего-то другого, что уходит в седые века русского зодчества. Чудо – его резной иконостас, чудо – его купола, его колокольня. Без Андреевского собора нет и Васильевского.

От «Дома Троекурова» до церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы
Прогулка десятая

Совершая ее, читатель узнает, кто такой Алексей Иванович Троекуров, где находился когда-то кинотеатр «Балтика» и какие воспоминания вызывает он у автора; каким образом хотела разбогатеть Софья Ковалевская, и что из этого вышло; а еще о том, как владелец василеостровских кабаков Иродион Степанович Чиркин церковь строил.

Должен признаться: я несколько виноват перед Шестой и Седьмой линиями Васильевского, а точнее перед тем отрезком этой улицы, что пролегает между Большим и Средним проспектами. Слишком много горьких, а порой и злых слов было сказано мною о нем в первом издании «Прогулок»…

Связано сие с нетерпением, с желанием поскорее увидеть обещанное чудо преображения, которому должна была подвергнуться, да все так и не подвергалась эта заповедная территория. Сама задумка превратить Шестую и Седьмую линии, на манер Малой Садовой или Малой Конюшенной в пешеходную зону возникла давно. В свое время я знакомился с проектом архитектора Шендеровича, который предусматривал открыть здесь всевозможные пассажи и превратить Шестую и Седьмую в цивильный торговый центр Васильевского. Читал о проекте Бориса Устинова; был посвящен в другие предложения.

Все это будоражило воображение и грело душу. Но реализация задумки началась в конце 90-х с того, что улицу размостили и, выложив на ней на два десятка метров новое гранитное покрытие, – вот, дескать, по какой красоте вам предстоит ступать, – видимо, по причине финансовых неурядиц надолго забыли о ней.

Это было страшное зрелище… Перекопанная, обезображенная улица с обветшавшими, облупившимися фасадам домов стремительно превращалась в василеостровскую клоаку. На местном бульваре развернулась толкучка, где пожилые

бедствующие люди торговали с земли всем, что еще можно было продать: от хорошо поношенных зимних шапок до крапленых клопами книг. Но, кроме пенсионеров, кучковалась здесь и другая «публика». Та, что побиралась и прикладывалась к бутылке, оправлялась в окрестных дворах и парадных, приставала к прохожим. Сцены здесь возникали достойные пера Крестовского или Бахтиарова. Это был шабаш отверженных; и почти два с лишним года отвратительной жабой выглядела эта улица прежде, чем превратиться в улицу-принцессу.

Я писал о ней летом 1999-го, но лишь два года спустя она действительно стала неузнаваемо прекрасной. Подновленные, покрашенные в истинно питерские тона, фасады ее домов смотрят на пролегающий по центру удивительный, украшенный лиственницами, изящными скамьями и фонтанами, бульвар. Гранитная, сложного геометрического рисунка, мостовая намекает на свою принадлежность по меньшей мере к столичному рангу. Такой улице не стыдно предстать перед туристом с Запада. И как хочется верить, что это и есть одна из дорог в будущий мир городского устройства, где стыдно будет бросить окурок на тротуар. Ведь воистину: окружающая красота очищает, заставляет стыдиться собственного бескультурья, гасит низменное начало….

Но, наверное, хватит уже запоздалых дифирамбов; нам пора возвращаться к истории Шестой и Седьмой линий.

За собором Святого Апостола Андрея Первозванного в сторону Среднего расположились еще три здания, которые дают право называть этот уголок Васильевского заповедным. О церкви Трех Святителей мы уже упоминали в предыдущей главе, поэтому пройдем сразу к дому №13 по Шестой линии, ныне знаменитому «Дому Троекурова».

Почему ныне? Да потому что до 1968 года никто, кроме специалистов-историков, ничего о Троекурове и его доме слыхом не слыхивал. Если бы о Троекурове спросили тогда кого-нибудь из рядовых островитян, наверняка, получили ответ, что это не кто иной, как персонаж из «Дубровского». Такой ответ, впрочем, можно было бы услышать и сегодня: не очень-то продвинулись мы в знании родного города.

Вообще-то Пушкин, видимо, был осведомлен, что род Троекуровых прекратил свое существование в 1740 году, и, давая фамилию эту одному из героев своей повести, тем самым особо подчеркивал знатность его происхождения.

А был род Троекуровых действительно знатен. Сам Алексей Иванович Троекуров, о котором и идет речь, служил стольником у Петра I. Это он привез в Сергиев Посад царевне Софье просьбу от

ее шестнадцатилетнего брата «удалиться ей из Кремля, в Новодевичий монастырь». Отец же Алексея Ивановича был начальником Стрелецкого Указа, должность по тем временам тоже великая.

Когда стали заселять Петербург, князь Троекуров, как и другие сподвижники Петра, был «записан на житье» в столице. Получил он поначалу участок на Стрелке, а когда там стали вести казенное строительство, переселен был сюда, в Шестую линию. На плане острова 1726 года дом Троекурова уже обозначен, как давно существующий. Обозначен он и на аксонометрическом плане 1765-1770 годов Сент-Илера, что поможет потом, по количеству окон первого этажа и мезонину, установить его идентичность с тем домом, что дожил до наших дней.

А дожил до наших дней удивительный особняк с высокими погребами «на сводах», что само по себе уже говорит о его почтенном возрасте. Но при этом, в отличие от подворья Александро-Невской лавры (смотри прогулку девятую), каменные палаты эти явно не принадлежали к типовой застройке по известному проекту 1716 года «для зело именитых». Вместо семи окон по фасаду было девять, вместо двух этажей – один, но с изящным и вместительным мезонином. Правда, был этот дом, как старая дама, густо намазан неприличествующим ее возрасту макияжем. С фасада смотрел на улицу вычурно игривый эклектический декор конца XIX века.

В 1968 году, незадолго до намеченной на Васильевском международной выставки «Инрыбпром», дом был предназначен к сносу. Тогда о заповедном уголке на Васильевском еще речи не шло и дома-долгожители могли быть в одночасье приговорены к смерти, если, конечно, не докажет кто-нибудь их особые права на жизнь.

Доказать это взялась выступившая под эгидой ГИОПа группа энтузиастов, в которую вошли известный историк архитектуры Игорь Александрович Бартенев, архитектор Василеостровского района, уже знакомая вам по предыдущей главе Ванда Андреевна УТМИ, Марина Викторовна Иогансен – она проводила архивные зыскания, а также преподаватели и студенты Академии художеств.

Шестая линия, 13. Дом Троекурова. 2002 г.

Так как, говоря словами Ильфа и Петрова, «дом был обречен», члены группы беспрепятственно провели первый зондаж: и, спустя какое-то время, добрались через двадцатисантиметровый (!) слой штукатурки до первородного фасада, хранившего следы декора… первой четверти XVIII века! Все были озадачены. Дом оказался явно старше времен Петра II и Анны Иоанновны.

А дальше началась «партизанщина». В то время, как остров

приводили в порядок, готовясь к предстоящей выставке «Инрыбпром», в его многолюдном центре та самая группа энтузиастов спешным образом старалась облупить, привести в непотребство фасад до этого хоть и старенького, но вполне приглядного дома.

В результате от страха – «А что скажут о нас гости из-за рубежа?» – городские власти затеяли спешный ремонт фасада, но уже под пристальным наблюдением ГИОПа.

Уже после того, как фасад очистили от напластований двух с лишним столетий и по сохранившимся фрагментам восстановили его былой декор – рустовку, наличники, карнизы, – встал вопрос об окраске дома.

Михаил Николаевич Микишатьев, историк архитектуры, когда-то студентом работавший на расчистке и реставрации Троекуровых палат, рассказывал мне, что самым интересным из всего обнаруженного было то, что дом не имел первоначального слоя штукатурки. «Он был покрыт, – вспоминал Микишатьев, – тонким слоем обмазки, этаким левкасом, каким покрывают доску прежде, чем писать икону. Очень белым и твердым, как яичная скорлупа. Восстановить обмазку эту не удалось. Но штукатурить дом мы все равно не стали. А сделали обмазку из извести, которая была загашена в яме, в Эрмитаже еще до войны. Она пролежала там всю блокаду. И Ванде Андреевне удалось эту известь достать из Эрмитажа. И мы выкрасили этой известью дом. Посмотрите, как светится его фасад при косых лучах солнца…».

Лучи весеннего солнца в тот момент, действительно, скользили по фасаду… И он светился; фактура играла, отражая свет от своей поверхности. Так светятся иконы в псковских церквах. И так, предполагает кое-кто из ученых, могли когда-то светится Меншиковский дворец и здание Двенадцати Коллегий.

Здесь на заповедном пятачке вокруг Андреевского собора Каменные палаты Троекурова, конечно же, своего рода бесценный изумруд. Неброские, но хранящие благородство, как и все, что относится к Петровской эпохе, за свою долгую жизнь они сменили множество хозяев. Ими владели принц Штерке, генерал-лейтенант Соковнин, графиня Салтыкова, статский советник Курбатов; в разное время здесь размещались вице-губернатор Петербурга и высокопривилегированный детский приют «Серебряный», а затем и «Петроградский совет детских приютов ведомства учреждений Императрицы Марии». Потом были «коммуналки» и годы ветшания. А теперь, когда дом возрожден и обрел почти первоначальный облик, ему нужен мудрый и просвещенный хозяин. То есть хозяин у него уже есть… Но не ясно пока, станет ли он заботиться о достойном будущем этой,

дошедшей до нас чуть ли не с петровских времен, реликвии.

Вспомним, как долго островитяне мечтали о том, чтобы здесь, у Троекурова был бы открыт небольшой музей «Васильевская старина»

При этом следует снести неуклюжие постройки во дворе, восстановить за домом сад, соединив его с остатками сада Ларинской имназии. Это дом №15, по Шестой. Кстати, такой же старый, как и Троекуровы палаты.

Вообще-то под номером 15 здесь, на Шестой числятся два здания. То, что примыкает к Троекуровым палатам – образец гражданской архитектуры первой трети XVIII века; а рядом с ним – ближе к Среднему – дом, где, собственно, и располагались классы Ларинской гимназии.

Она была торжественно открыта 15 августа 1836 года, как учебное заведение, где помимо предметов, предусмотренных уставом классических гимназий, был впервые введен особый курс по торговле и промышленности с тем, чтобы подготовить купеческих детей к коммерческой деятельности. Гимназию назвали Ларинской по фамилии купца П. Д. Ларина, завещавшего часть своего огромного капитала на нужды народного образования.

Это был, в какой-то степени, прототип будущих реальных гимназий, учреждённых в России только в 1864 году и преобразованных восемь лет спустя в реальные училища. Здесь классическое образование сочеталось со специальным. Впрочем, многие бывшие «ларинцы» приобрели известность отнюдь не на ниве коммерции. Среди выпускников гимназии – химик Б. Н. Меншуткин, архитекторы А. А. Парланд и Н. А. Гаккель, географ А. Л. Нечаев, романист П. Н. Полевой, литературный критик А. М. Скрабичевский, писатель М. Л. Слонимский.

После революции здание бывшей Ларинской гимназии занимали учебный комбинат завода имени Козицкого, техникум электрослаботочной промышленности, а затем многие годы после войны ПТУ №68. Ныне же сюда вновь вернулся петербургский Университет. Я не оговорился: именно вернулся вновь…

Дело в том, что еще до того, как здесь зазвучали голоса будущих промышленников и торговцев, в конце XVIII века зданием владела Учительская семинария, готовившая педагогов для народных училищ, а с 1803 года это была уже Учительская гимназия, преобразованная год спустя в Педагогический, а затем, с 1816 года, – в Главный педагогический институт. Этому институту и суждено было стать предтечей Императорского Петербургского университета, в который он и был превращен в 1819 году. Таким образом, почти четверть века до того, как

Университет переехал в перестроенное специально для него архитектором А. Щедриным здание Двенадцати коллегий, он помещался здесь, на Шестой линии Васильевского. Сюда теперь и перевел Университет часть своих кафедр.

Вообще дома на Шестой и Седьмой линиях между Большим и Средним проспектами, – да и не только на этом отрезке – таят в своей долгой истории множество любопытнейших подробностей…

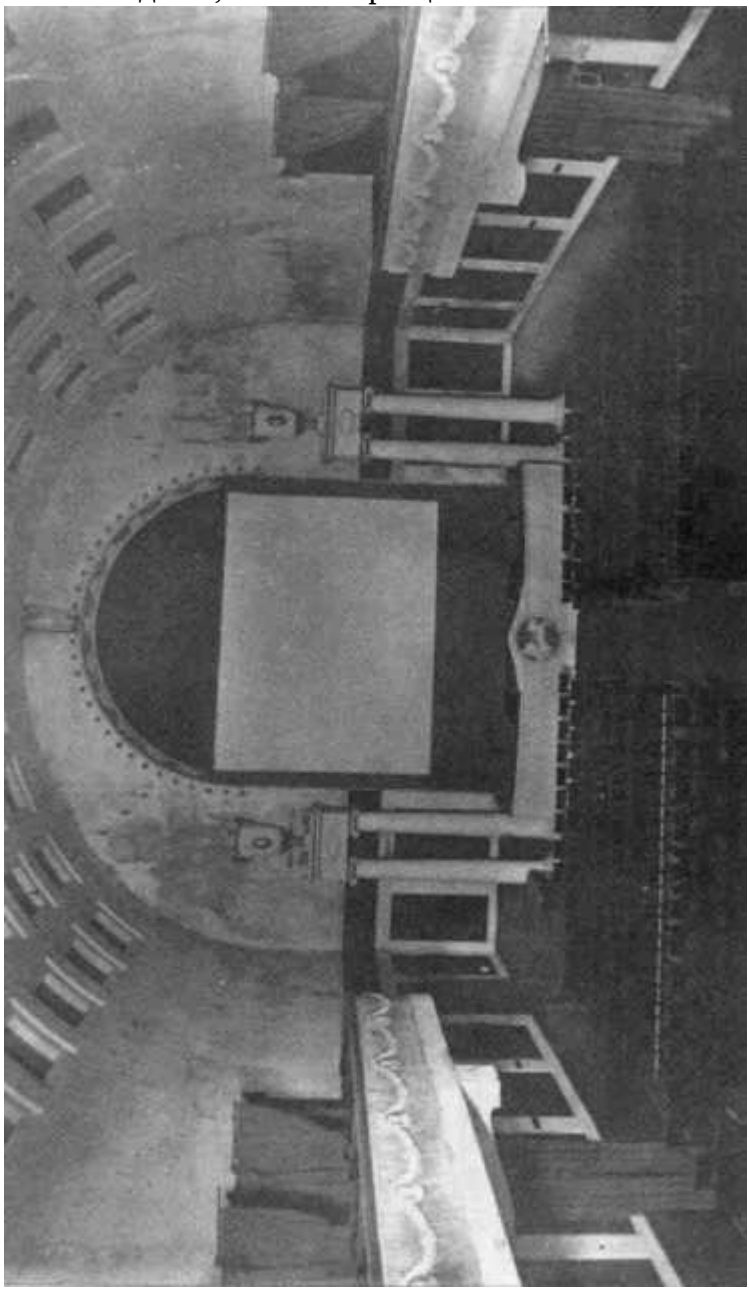
Вот хотя бы дом № 36 по Седьмой – трехэтажный, всего в семь окон по облаченному в классический декор фасаду. Возведенный в первой четверти XIX века, к концу века XX он весьма обветшал и, казалось, годился разве что на слом. Но в начале XXI века умелые руки реставраторов, помятуя о былых заслугах дома перед российским искусством, подарили ему новую жизнь. Возрожденный, покрашенный в пастельные тона, дом этот теперь не может не радовать глаз. Он, как фрагмент старинной акварели, запечатлевшей трогательный облик Седьмой линии.

В те далекие времена в доме № 36 помещалось Общество поощрения художеств. Здесь были учебные залы с копиями античных статуй, куда приходили практиковать начинающие художники, а среди них и, тогда еще подручный ремесленника-живописца, Тарас Шевченко. Позже, уже в 1870-х годах одну из квартир дворового флигеля снимал замечательный русский художник Николай Николаевич Ге. На «четвергах», которые устраивал хозяин квартиры, бывали И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин и многие другие знаменитые деятели литературы и искусства. Вот такой дом…

А рядом с ним, ближе к Большому, опять же в начале XXI века появилось огромное и по своему весьма привлекательное здание современной архитектуры. Оно выросло на месте, где мучительно и долго, прикрытый забором, похожим на ширму, что выставляют в общих палатах у коек обреченных больных, умирал некогда любимый василеостровцами кинотеатр «Балтика». А еще раньше здесь же, по адресу Седьмая линия, 34 существовал кинотеатр «Форум».

Построен он был в 1914 году Симой Минашем, архитектором несохранившегося вокзала в Царском Селе. Своим великолепием он сразу же затмил располагавшуюся рядом на Седьмой дешевую киношку «Яр». «Форум» существовал до войны и в послевоенные годы. Я прекрасно помню его интерьер, стилизованный под античную эпоху, откуда он и взял свое название. Вглубь участка от линии вели две галереи; кажется, в правой были билетные кассы; помню я и многие фильмы, которые здесь смотрел!

В свое время меня поразила одна история. Она касается «Форума» и рассказана автором полубиографической повести «Неоплаченный долг», василеостровцем Олегом Носовым.



Зал кинотеатра «Форум». 1930-е гг.

Осенью 1943 года он, тогда еще ребенок, вместе со своей матерью был на одном из сеансов в «Форуме», где показывали фильм «Жди меня». Сеанс закончился на десять минут раньше: почему-то не было обычно предварявшего фильм киножурнала.

Толпа вышла на вечернюю Седьмую и в эти минуты, как пишет Олег Носов, «… воздух вдруг быстро загустел, спрессовался, словно встречный ветер преградил людям дорогу, а мгновенный порыв прижал их к стенам домов, повалил на землю и оглушающий, похожий на трамвайные тормоза, резкий свист пронесся над головами и оборвался тяжелым вдохом где-то за крышами домов… И снова накатила воздушная волна и снова ее настигал свистящий металлический скрежет, словно гонялись они друг за другом по кругу…

…Я не заметил, как мы упали. Я лежал на холодном камне мостовой, руки вязли в грязной луже, ноги упирались в булыжник – лицо, грудь мерзли, спине и затылку было тепло. Дыхание и мамино тело согревали их. И тут земля вздрогнула. Нас подбросило. Я почувствовал холодок со спины и обернулся. Мама лежала рядом. Над крышей кинотеатра поднимался столб, похожий на дым; он светился изнутри красным туманом. Подползла мама: «Жив? Слава богу. Не судьба. Не судьба, сынок.» Она поднялась на локтях и тоже посмотрела на кинотеатр: «Прямо в зал. Еще минута и все. Всех бы…».

Когда-то я говорил Олегу Алексеевичу, что у меня тоже есть о «Форуме» история, связанная с войной. Но не напрямую. Хотя, как сказать.

Перед самой войной к нам в гости приезжала с Пороховых моя двоюродная сестра, дочь брата матери – Тамара. Наверное, ей было лет тринадцать, но мне казалось тогда, что она уже совсем взрослая, очень красивая и веселая девушка. Мать отпустила меня погулять с Тамарой и мы отправились в «Форум», поглощая по дороге самые вкусные на свете крошечные порции зажатого в тонкие, круглые вафельки мороженого. В «Форуме» шел «Праздник святого Йоргена». Над проделками Ильинского я хохотал так пронзительно, что Тамара несколько раз, видимо, испытывая неловкость перед теми, кто сидел рядом, прикрывала мой рот своей ладонью…

Это все, что я помню о довоенной Тамаре.

Потом была блокада, эвакуация… Наши семьи потеряли друг друга. О том, как это произошло, рассказывать долго и горько. Да мало ли родных людей рассеяла по стране война.

Но уже после Победы, когда оказалось, что из всего материнского рода, кроме меня с ней, никого не осталось, мать стала искать семью погибшего на фронте брата. Это длилось долгие годы, Я не хочу занимать вас подробностями поиска, как и жутковатыми подробностями встречи со своей сестрой. Она произошла 35 лет спустя после нашего похода в «Форум» на «Праздник святого Йоргена».

Верно говорят: не ищи прошлого. Передо мною стояла, заключив меня в объятия, низкорослая, полная женщина с грубоватым лицом, на котором читалась бурная и тяжкая жизнь. Ничего не было в моей сестре от той Тамары, которая ушла от нас весной 41-го. Она не помнила никакого «Форума», и вообще, того, что приезжала тогда на Васильевский. Уже за столом, после того как выпили за встречу, обнаружилось, что круг интересов Тамары составляют ее подруги по вокзальному ресторану в Новосибирске, где она многие годы работала посудомойкой.

А потом Тамара запила. Неделю она практически не приходила в себя. Мать, на чьих глазах все это разворачивалось, слегла с тяжелым сердечным приступом. А мне оставалось всеми правдами и неправдами поскорей спровадить Тамару обратно в Сибирь.

Уже на аэродроме, перед самым отлетом, она поцеловала меня в лоб, как если бы прощалась навсегда: «Кто ты, Витя? А кто я?»

Больше мы не встречались. Потревоженное прошлое теперь навсегда захлопнуло перед нами двери. Мать писала Тамаре и Даже, кажется, получала ответы… Много лет спустя, уже после смерти матери, меня нашла приехавшая в Петербург читать лекции о духовных ценностях Востока Тамарина дочь, красивая, интеллигентная и удивительно обаятельная женщина.

Вот такая история связана у меня с бывшим кинотеатром «Форум», который когда-то стоял на месте теперь уже тоже бывшего кинотеатра «Балтика».

Но давайте поговорим о доме №17 по Шестой линии. Несколько лет в последней четверти XIX века им владела Софья Васильевна Ковалевская. Наверное, нет надобности напоминать биографию знаменитого российского математика, тем более, что то, о чем пойдет речь, к ее математическим успехам отношения не имеет.

Напомню только: Софья Васильевна и ее сестра Анна Васильевна Корвин-Круковская (в замужестве Жаклар) – внучки Федора Федоровича Шуберта, жившего на Первой линии острова, известного составителя карт Петербурга. Родственные узы связывали семью Шубертов с семьей архитектора Александра Брюллова. Тетки Софьи Васильевны были замужем за архитекторами Павлом Сюзором и Павлом Волковым.

Родство с зодчими, особенно одним из них, Павлом Сюзором, сыграло особую роль в тех драматических событиях, которые произошли с четой Ковалевских в 70-х годах XIX века.

В 1874 году Софья Васильевна и ее муж, известный палеонтолог Владимир Онуфриевич возвратились в Россию из

Германии, где в Геттингенском Университете двадцатичетырехлетняя Ковалевская удостоилась звания доктора математических наук.

Это было время начала стремительной застройки Васильевского. И кто-то из знакомых Ковалевских, заработавших немалые деньги на этом буме, посоветовал Ковалевским заняться возведением доходных домов. Идея эта заинтересовала супругов. Они были скорей бедны, чем богаты, и, как они сами считали, возможность быстро сбить приличное состояние, могла открыть им дорогу к самостоятельной научной деятельности.

Первым объектом, на который обрушилась их кипучая энергия, и стал дом № 17 по Шестой. Тогда это был каменный, очаровательный двухэтажный особняк, стоявший на участке, где некогда жил знаменитый архитектор Иван Егорович Старов. Дом приобрела для Софьи Васильевны ее мать Елизавета Федоровна Корвин-Круковская, урожденная Шуберт. В дело были втянуты не только она, но и ее старшая дочь с мужем – чета Жакларов.

Поначалу решено было надстроить выходивший на Седьмую дом на целых три этажа. Но вдруг выяснилось, что делать этого нельзя – не выдержит бутовый фундамент. А уже были завезены материалы, приглашены рабочие; и тогда Ковалевские начинают строить во дворе особняка пятиэтажный флигель. Строительство шло удачно; лето 1876 года выдалось сухим, осень теплой и долгой, и у супругов созревает план тут же на территории сада, благо темп стройке задан, соорудить под доходный дом еще один флигель. Фортуна улыбалась им. Оба здания были закончены в срок, и уже к 1877 году все квартиры во флигелях были разобраны под наем.

На какое-то короткое время Ковалевские становятся богатыми людьми. Софью Васильевну так и называли тогда «миллионерша». Люди, которые знали ее, когда она училась в Европе, бедствовала и голодала, поражались, сколь изменилась она: ее просто не узнавали. Сохранились воспоминания математика и писательницы Литвиновой, знакомой Ковалевской по учебе за границей. Литвинова писала о том, что Софья Васильевна стала совершенно светской дамой; имела свою ложу в театре и обожала дорогие шоколадные конфеты.

Теперь в ее голове роились идеи нового строительства. Участок для этого ею был присмотрен давно на углу Большого и Девятой, где стоял когда-то в саду деревянный особняк, стены которого помнили драматурга Александра Сумарокова и художника Дмитрия Левицкого. Кстати, Левицкий написал здесь портрет своей жены, который принимают за портрет Екатерины II. Наталья Яковлевна была очень похожа на Екатерину. Особнячок,

где работал Левицкий, а впоследствии жили Ковалевские, оставил на своих рисунках Георгий Верейский. Он жил напротив, на Большом, 24, и постоянно рисовал с балкона Андреевский собор и угол Большого и Девятой. Особняка этого давно нет. На его месте построено здание института Высокомолекулярных соединений. Но мы несколько отклонились в сторону.

Итак, сделка состоялась. Приглянувшийся особнячок и участок были куплены; на месте нынешнего дома №16 по Девятой линии развернулась грандиозная стройка. Теперь в дело уже был вовлечен и брат Ковалевской Федор Васильевич Корвин-Круковский. Софья Васильевна безоговорочно верила в успех. Она полагала, что ее способности к точным расчетам должны помочь ей и в этой затее. Желание приумножать капиталы с тем, чтобы потом погружаться с головой в чистую науку, властвовало над ней и Владимиром Онуфриевичем.

Выгодным делом считалось тогда открывать общественные бани, и Ковалевские решают строить не просто доходный дом, но доходный дом с общественной баней во дворе. Проект дома с банями попросили, по-свойски, за невеликую цену, составить Павла Сюзора; он уже строил тогда в Петербурге общественные бани. Софья Васильевна старается скрупулезно подсчитать, сколько будет ходить в ее бани народу, и какие возможны при этом доходы. Владимира Онуфриевича занимает идея оборудовать на чердаках строящегося дома парники. Там будут, фантазировал он, проходить трубы с горячей водой и надо воспользоваться дармовым теплом.

Строительство подвигалось споро, но денег на него постоянно не хватало. Росли долги. К тому же, стали высказывать беспокойство родственники Ковалевских: да посильное ли это все-таки для молодых, не имеющих жизненного опыта ученых, дело? Особенно беспокоился старший брат Владимира Онуфриевича. Он просто уговаривает чету Ковалевских прекратить строительство.

Стояла осень 1878 года. У Софьи Васильевны родилась дочь. И она, отойдя на время от дел, нянчила ее в деревянном особнячке на Большом; занималась огородом и – в это трудно поверить – великий математик, «светская дама» завела на участке корову.

Теперь всем строительством занимался только Владимир Онуфриевич. И это было гибельным для затеянного. Талантливый, образованный, предельно честный человек он оказался несостоятельным дельцом. Долги продолжали расти и он был бессилен остановить обрушившийся на него камнепад финансовых неудач. Даже продажа сюзоровских бань не

отодвинула крах. И он наступил осенью 1879 года. Ковалевские были разорены. Единственное, что удалось сделать, это переписать дом №17 на Шестой на других лиц; когда состоялась процедура банкротства, он уже за четой Ковалевских не числился. Потом во владение им вступила Анна Васильевна Корвин-Жаклар, от которой дом перешел ее сыну Юрию, а уже затем был продан купцу Иванову.

Известно, что самоубийство Владимира Онуфриевича как-то связано с неудачным строительством на Васильевском. Еще четыре года после всего случившегося он пытался заработать деньги, чтобы рассчитаться с долгами. Увы, сил на это у него не хватило, и 16 (28) апреля 1883 года он отравился хлороформом в одной из московских гостиниц.

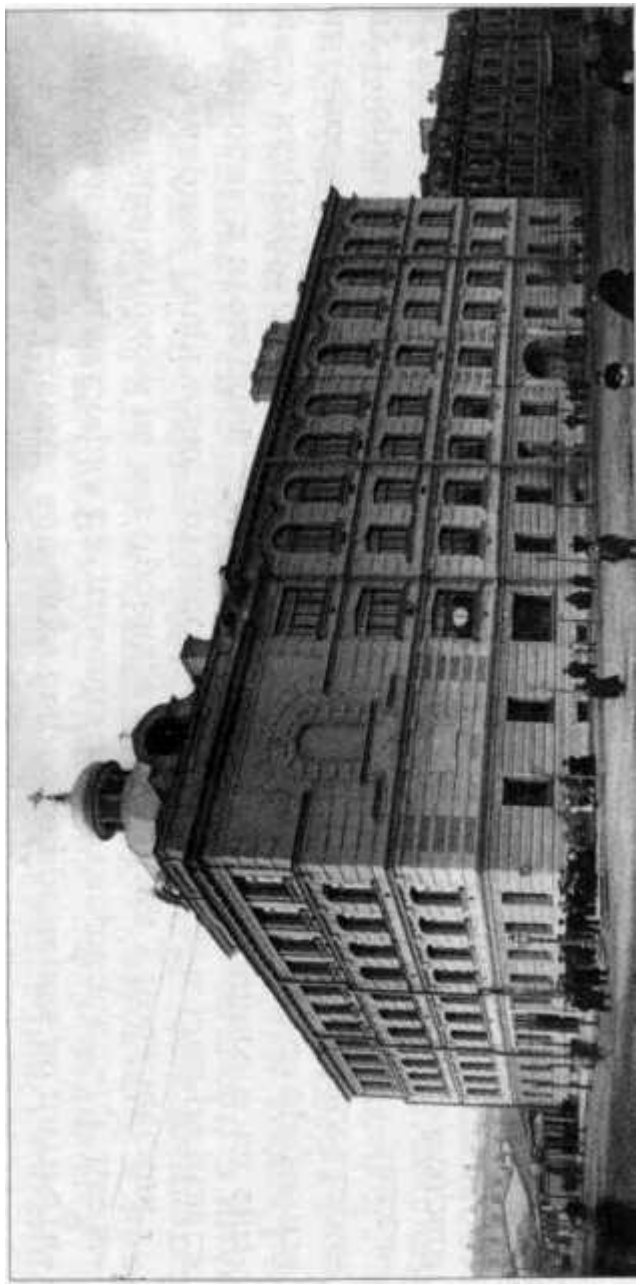
А дом №17 на Шестой все-таки вырос со временем до пяти этажей, как и мечтала Софья Васильевна. Как утверждает М. Г. Козырева, он даже похож на тот проект, который был у Ковалевской.

О Марине Георгиевне хотелось бы сказать особо. Она родилась и выросла в этом доме; здесь еще в начале нынешнего века снимала квартиру ее бабушка. Отсюда и пробудившийся со временем интерес к Ковалевским. Интерес этот, собственно, и привел Марину Георгиевну в краеведение. Теперь она уже много лет возглавляет историко-красведческий клуб «Васильевский остров», который по стечению обстоятельств проводит свои заседания тоже в этом доме, в помещениях переехавшей сюда с Большого библиотеки имени Льва Толстого. Вместе с Мариной Георгиевной я совершил несколько радиопрогулок по Васильевскому. Она прекрасный знаток острова и хороший рассказчик. И мне кажется, что ее публикации о домах, так или иначе связанных с родом Шубертов-Ковалевских-Жаклар, выльются со временем в увлекательную книгу об этом старинном василеостровском семействе. Дай-то Бог.

…Бульвар тянется к Среднему и мы идем к станции метро через строй молоденьких лиственниц. Слева от нас остаются громада дома №32, детища плодовитого Василия Шауба, где жил мой одноклассник Ковалевский, однофамилец ученого, тоже Владимир; дом №38 – еще один представитель начала XX века; дом №40 в четыре этажа с барельефами по фасаду, надстроенный лет 120 назад; и, наконец, уже на Среднем, по правую руку за «Макдоналдсом», вашему взору предстанет домик в два этажа, на фасаде которого когда-то в 20-е годы ушедшего века простиралась вывеска, на которой значилось: «Похоронное бюро „Вечность“. Там был богатый выбор гробов и всяких похоронных принадлежностей, магазин этот весь нижний этаж занимал.

Потом в том помещении обосновалось ателье дамских головных уборов, а в послевоенные годы вселилась булочная.

Я помню эту послевоенную булочную и конфетный магазин напротив, на другой стороне Среднего. И тот дом, что стоял на месте нынешней станции метро. В его подвальном магазинчике «Старая книга» я мальчишкой часами рассматривал открытки с видами незнакомых мне городов, незнакомого Петербурга и Васильевского. Время бежит, на место одних домов при жизни человеческой приходят другие. И не скажешь, что хуже, чем были. Например, «Мак-Доналдс». Здесь, на углу Шестой и Среднего, он вполне тактично вписался в старый Васильевский. Увенчан башенкой с часами; как бы подстроился еще к одному дому с башней, моей «тридцаткой».



Первое городское 12-тиклассное училище на пересечении Среднего проспекта и Седьмой линии. Начало XX века.

Заканчивая эту школу в 1952 году, я не мог предполагать, что под этим номером она станет столь знаменита. Правда, не знал я тогда ничего и о ее прошлом. А оно – любопытно.

Школа была открыта 6(18) октября 1897 года. Называлась она тогда «Первое городское 12-тиклассное училище». В школе изучали Закон Божий, церковнославянскую грамматику, русский

язык, арифметику, а также пение, рисование и рукоделие. Преподавание этих дисциплин здесь шло весьма успешно. Во всяком случае, за ведение учебного процесса школа была удостоена в Париже в 1899 году Золотой медали. Учились здесь, в основном, дети василеостровской бедноты. А вот подбор учителей был действительно блестящим.

В Первую мировую школа, уступив свое здание лазарету, переехала на Двенадцатую линию и находилась там несколько лет. В 30-е годы школа считалась одной из лучших десятилеток города; здесь продолжали преподавать педагоги, оставшиеся еще с царских времен. А осенью 1941 года повторилось то, что было в 1914-м: школа на три года покинула свой дом, чтобы предоставить его госпиталю.

Она вернулась на прежнее место в 1944 году. И должен свидетельствовать, учителя здесь по-прежнему были замечательными. При этом надо учесть, что в первые послевоенные годы они имели дело даже не с василеостровской беднотой, как их коллеги из прошлого века, им внимали, если, конечно, хотели внимать, недокормыши, подранки, искалеченные психически, ожесточившиеся на много лет вперед дети войны.

Я уже рассказывал в одной из глав об Антоне Гуговиче Ганзене, как искал он всеми правдами и неправдами дорогу в наши души. Хочу вспомнить и нашего классного руководителя, математика Бориса Федоровича Блошкина. Офицер, пришедший с войны, он возжелал вернуть нам то, что прошло мимо нас в начальных классах. Учившиеся писать в тетрадях, сшитых Бог весть из чего, посещавшие школу через пень в колоду, мы были безграмотными почти поголовно.

Он был жесток, Борис Федорович. Он лишал нас счастья школьных каникул, вменяя каждому переписать от руки десятки, а то и сотни страниц прозы. Я переписывал «Золотой каньон» Джека Лондона. Переписывал три раза. Помню и сейчас написание слов и расстановку знаков в этих звучных, красивых предложениях.

«…По одну сторону заводи небольшая лужайка сбегала к самой воде; свежая прохладная зелень простиралась до подножия хмурых скал. Другой берег ручья отлого поднимался ввысь и упирался в скалистую стену. И здесь сочная трава покрывала откос, пестрея яркими пятнами разбросанных повсюду цветочных ковров – оранжевых, пурпурных, золотых. Ниже по течению каньон упирался в скалы. И дальше ничего не было видно…»

Я читал это наизусть много лет спустя, когда мы, одноклассники, собрались добрым словом вспомнить Блошкина в годовщину его смерти. Повторяю, у нас были прекрасные

учителя. И очень жаль, что в дни столетия школы их никого, кроме физрука Конкортия Иннокентиевича Гольдберга, не оказалось в поминальном списке, напечатанном в «Часе Пик». Собственно, школа, обретя статус математической и патронаж Университета, прихватив с собой номер и оставив в старом спортзале доски с фамилиями «доисторических» медалистов, однажды в 1976 голу съехала со Среднего на намывные гаванские земли. С тем, чтобы ежегодно продуцировать в Мир обладателей дипломов, которых с удовольствием берет в обучение и любой зарубежный ВУЗ.

Некоторые из выпускников нынешней «Тридцатки» входят в золотой фонд отечественной науки. Многие живут и работают за рубежом – в Америке, Израиле, Германии, Франции. Честь и хвала им, конечно. Ну, а из стен дома с башенкой на углу Седьмой и Среднего до 2005 года выпархивали в российскую жизнь выпускники возрожденной здесь общеобразовательной реальной школы №1. Слава богу, в 2005 году 30-ая школа все-таки вернулась на свое историческое место. Мне, уж не знаю из каких соображений, как-то по телефону поступило предложение стать членом элитного клуба выпускников «Тридцатки». Я отказался, сказал, что не могу, потому как являюсь «натуральным парвеню».

А раз так, как говаривал наш военрук Барбашов: «Правое плечо – вперед!». В мороз и слякоть, в дождь и снегопад отправлялся наш класс заниматься строевой подготовкой на площадку 28-й женской школы, рядом с церковью Благовещения Пресвятыя Богородицы. Взяв на плечи винтовки с примкнутыми штыками, мы топали по булыжной мостовой к Малому проспекту. Песня, которую мы всякий раз затягивали, не имела ничего общего с походной, строевой: «Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака, с колокольни чем-то машем, разгоняем облака». Охальнику Барбашову песня нравилась. Он вообще считал, что будущий защитник державы должен быть парнем сильным и грубым.

Придя на площадку, мы начинали, как и тысячи других мальчишек в необъятной нашей стране, практиковаться в шагистике и выкидывать винтовками всевозможные «артикулы». Делали, надо сказать, мы это не без удовольствия. Барбашов, как я понимаю теперь, был неплохим психологом. Из окон женской школы, прижав к стеклам свои носики, наблюдали за нами потенциальные наши партнерши по танцам на будущих школьных вечерах.

А колокольня, о которой мы пели в пути, – она была рядом за забором, там, где начинался Благовещенский сад. Большинство из

нас, конечно же, понятия не имели, что это за старая, превращенная в склад, развалюха-церковь доживает свой век по соседству.

Теперь, вот уже как лет семь, она начинает возвращать приличествующий ей облик. Если подняться по каменным ступеням на второй этаж церкви, где проводятся службы, в потрескивании свечей и окружении темных ликов святых, остро чувствуешь, в какую даль питерской истории открылись перед тобой двери.

Деревянную церковь Благовещения поставили здесь весной 1738 года, а в 1750-м рядом с временной церковью был заложен каменный храм, первый престол которого был освящен в 1762 году, на 18 лет раньше каменного Андреевского собора.

Хлопоты по строительству церкви взял на себя – да отмолятся ему за это грехи мирские, – владелец всех кабаков и питейных заведений Васильевского купец Иродион Чиркин. Вносил он деньги немалые и на деревянную, и на каменную церковь. А, кроме того, занимался благоустройством соседствующих территорий, обносил храм оградой. Кроме самого Иродиона Чиркина, помогал в строительстве и его сын Иван.

В то время при церкви, как и при Андреевском соборе, существовало кладбище, на котором нашли последний приют многие известные петербуржцы. В 1950 году в Благовещенском саду, там, где был когда-то погост, была обнаружена надгробная плита с надписью: «Здесь положено тело статского советника Андрея Константиновича Нартова, служившего с честью и славою государю Петру I, Екатерине I, Петру II, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, оказавшему отечеству многие важные услуги, по различным государственным департаментам, родившегося в Москве 1680 года марта 28 дня, скончавшегося в Петербурге 1756 года апреля 6 дня».

Останки великого механика Андрея Константиновича перенесли на Лазаревское кладбище Александре-Невской лавры и предали земле рядом с могилой его современника и товарища по борьбе с Шумахером Михаилы Васильевича Ломоносова.

Когда-то в середине XIX века здесь, на территории церкви Благовещения, размещался женский Воскресенский Новодевичий монастырь. И церковь Благовещения была тогда Монастырской церковью. Но потом монастырю был отведен сосновый парк вблизи Московской заставы, а церковь возвращена прежним прихожанам.

Храм этот, начиная с 60-х годов XIX века, был славен своей благотворительной деятельностью. Более полувека его настоятелем оставался протоиерей Иоанн Иоаннович Демкин.

При нем здесь, на Васильевском, на пожертвования богатых прихожан строились дома для малоимущих, были открыты приюты для стариков и детей, оказывалась ощутимая материальная помощь страждущим.

В 1915 году, после смерти Иоанна Демкина, настоятелем церкви Благовещения стал его зять Михаил Иванович Поспелов. В 1918 году батюшка повредил себе позвоночник и оказался на многие годы фактически прикованным к постели. Но это, как вспоминает внучка Поспелова Наталья Алексеевна Цветкова, не удержало большевиков от того, чтобы в 1933 году подвергнуть его якобы за «вредную» для государства деятельность репрессивным мерам воздействия. Беспомощный старик был выслан в Галич, где и доживал свои дни.

Рядом с Благовещенской церковью и садом жили когда-то несколько моих одноклассников и, так уж случилось, многочисленные знакомые по Васильевскому. В вечерний час я вижу иногда, как зажигаются окна в их квартирах, и там за занавесками под люстрами и абажурами течет какая-то неведомая для меня жизнь. За минувшие полвека многие уехали с Васильевского, кого-то нет уже в живых, да и те, кто здравствует, вряд ли узнают в сухощавом и седобородом пожилом человеке того, кого считали когда-то приятелем или добрым знакомым.

Время безжалостно. Оно меняет окружающий мир, оставляя нам лишь воспоминания о том, каким он был раньше. И не позвонишь, и не постучишь в эти двери. За ними уже нет того, что грело тебя когда-то.

«Ты без меня необитаем
стал, Василъевский.
Какие недруги тебя осилили ?…»

Я как-то раньше особенно не вникал в смысл этих строк, написанных моим университетским другом Борисом Моисеевым. Теперь я понимаю, что «недруги», сделавшие для меня остров необитаемым, – мои прожитые в отдалении от него годы. Именно «для меня», а не «без меня». Ведь остров по-прежнему живет, дышит; гремит трамваями, шумит людскими потоками. И все у него, конечно же, будет прекрасно.

Но мне уже навсегда суждено существовать в ином времени. Я остро почувствовал это, взявшись за «Десять прогулок». Прием повествования, избранный мною, предполагал вкраплять в историко-краеведческие очерки лишь небольшие авторские отступления о том, чему был свидетелем сам. Но по мере того, как писалась эта книга, я убедился, что мне никуда не деться от

плотной толпы воспоминаний, которые увлекают на другую дорогу. Когда-нибудь, быть может, я попробую пройтись по ней…

А теперь – надо все-таки закончить эту, последнюю, чуть затянувшуюся прогулку.

Давайте пересечем Малый проспект и, чего нельзя было сделать во времена моей молодости по причинам глухого забора, перегораживавшего у завода Козицкого Шестую и Седьмую, выйдем на Смоленку, Чухонку или, как зовут ее до сих пор старые островитяне, Черную речку.

Где-то здесь была дача актера Александринки Григория Ге, которую многие считали дачей известного художника Николая Николаевича Ге. Только подумать: дача на Васильевском в начале XX века?…А пологие берега Смоленки с их склоненными над водой ракитами до сих пор хранят какую-то особую грустно-патриархальную живописность. Василеостровский Стикс, медленно течет к заливу. Под тонким слоем коричневатых вод стелются по течению мохнатые водоросли. Я всегда любил бывать здесь в юности и потом, когда вполне взрослым человеком приезжал на остров.

О многом думается на берегу Смоленки. Застывшая в своем почти изначальном обличий, обрамленная полупустынной окрестностью, она – как некий символ прошлого этих дорогих для меня мест. Наверное, в ней когда-то толпились баржи, и вода всегда отражала берега и блеклое петербургское небо, в котором тянулись над печными трубами домов тонкие косички дыма. Ах, как мало остается тех, кто знает, кто помнит, как топились печи в петербургских квартирах, как постепенно нагревался их белый кафель и как долго отдавал тепло. Они ушли из нашего быта, как и забитые дровяными кладками василеостровские дворы, как звонки велосипедов на линиях и дворники у вечерних ворот, как доносящиеся в ночи от кораблестроительных верфей ухающие голоса паровых молотов и ранние гудки зовущих к себе заводов.

Что-то иное уже давно пришло на смену этому хороводу образов, запахов, звуков. А остров все же остается бесконечно узнаваемым и родным. Он, как большой, путешествующий через века корабль, который никогда не покинет душа островитянина.

Май-сентябрь 1999г. Октябрь 2005 г.

Виктор Михайлович Бузинов

Виктор Михайлович Бузинов родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил отделение журналистики филологического факультета ЛГУ. Автор публикаций в журналах, научно-

популярных и историко-краеведческих сборниках, а также книги « Дворцовая площадь. Неформальный путеводитель». За цикл радиопередач «Прогулки по Петербургу» в 2000 году удостоен премии « Золотое перо». В 2003 году книга «Десять прогулок по Васильевскому» была удостоена диплома Анциферовской премии.

notes

Примечание 01

Так было в 1999 году. Сегодня у Виктора Михайловича более легкий магнитофон. (Примечание редактора).

Примечание 02

В своей книге «Василеостровский район» Г. Никитенко и В. Соболь утверждают, что это мог быть и нынешний Магдалинский переулок. Так как дом №56 по Первой линии, где когда-то в пансионе Е. Мейера учился будущий автор «Черной курицы», выходит на него своим углом. Но это не меняет сути дела, если предположить, что Магдалинский был когда-то г-образным продолжением Песочного. Тем более, что первое упоминание о Магдалинском переулке датируется 1849 годом. Это – спустя 13 лет после смерти Погорельского и 57 лет после того, как у Песочного появилось его фициальное название.